
Архив
ОССИЙСКОГО Востоковедения



Серия образована в 1994 году

А. А. Долинина

Невольник долга

Центр
«Петербургское Востоковедение»

Санкт-Петербург
1994

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований. Код 93-06-10125*

Долинина А. А.

Невольник долга. — СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1994. — 464 с.

ISBN 5-85803-016-5

Настоящая книга представляет собой первую попытку биографии академика Игнатия Юлиановича Крачковского (1883—1951) и написана его ученицей, профессором-арабистом А. А. Долининой. И. Ю. Крачковский — это целая эпоха в мировом востоковедении, его труды составляют классику науки двадцатого века. Биография выдающегося востоковеда равно интересна как специалистам, так и широкому читателю, интересующемуся историей отечественного востоковедения.

ББК Ш.г(2)7д Крачковский И. Ю.

ISBN 5-85803-016-5

© А. А. Долинина, 1994
© Центр «Петербургское
Востоковедение», 1994

Об этой книге и немного о ее авторе

В истории арабской поэзии есть такое понятие «аль-мухадрам». Так средневековые арабские филологи называли тех поэтов, которые начали слагать стихи еще до ислама и продолжали это занятие при пророке Мухаммеде и первых халифах, — словом, объединили в своем творчестве две эпохи.

Этот термин с успехом можно применить и ко многим крупнейшим русским востоковедам первой половины XX века, в том числе — к Игнатию Юлиановичу Крачковскому (1883—1951), который начал прокладывать новые пути в арабистике в дореволюционные годы. К концу 1917-го он был уже магистром арабской словесности, штатным доцентом Факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета, сотрудником Азиатского музея, членом ряда российских научных обществ, автором почти ста научных трудов, среди которых — большая монография о средневековом арабском поэте аль-Вава Дамасском. Венчает дореволюционный период его деятельности состоявшееся в 1921 году избрание в Российскую Академию наук по рекомендации таких почтенных ее членов, как С. Ф. Ольденбург, Н. Я. Марр, В. В. Бартольд и П. К. Коковцов.

Затем последовали более тридцати лет научной и преподавательской деятельности при советской власти: продолжение работы в Санкт-Петербургском — Ленинградском университете и в Азиатском музее — Институте востоковедения АН и более трехсот научных трудов в различных областях арабистики (арабское языкознание, источниковедение, история литературы средневековой и новой, художественной и научной, вспомогательные исторические дисциплины, история арабистики).

И. Ю. Крачковский был главой новой русской арабистической школы, пользовался всеобщим уважением в научных кругах, советское правительство тоже как будто относилось к нему благожелательно, наградив его к концу жизни двумя орденами Ленина и — посмертно — Сталинской премией. Он получил признание и за рубежом — был избран членом Арабской Академии наук в Дамаске,

ГЛАВА VIII

Легендарная «Всемирная»

Европа нас водила за нос,
Нам было печего прочесть,
Пока судьба не привела нас
На Моховую, 36.

*Трудящийся Вас. Синекуров
(Из Ежегодника
«Всемирной литературы»)*

В истории русской культуры первого послереволюционного десятилетия есть эпизод, оставивший след в биографиях чуть ли не всех тогдашних петроградских ученых-филологов, а также многих писателей — работа в издательстве «Всемирная литература», созданном в 1918 году по инициативе А. М. Горького.

О деятельности этого издательства написано немало, и повторяться не стоит. Здесь будут даны лишь кое-какие общие сведения, необходимые для освещения работы членов Восточной коллегии «Всемирной литературы» и ее значения для отдельных ученых, чья жизнь в течение шести лет существования этого издательства была тесно связана с ним и чья дальнейшая деятельность в той или иной степени определялась задачами, поставленными тогда.

Целью издательства — как провозгласили его организаторы — было ознакомление читателей молодой советской республики с лучшими произведениями художественной литературы Европы, Америки и Востока в новых переводах, выполненных на научной основе.

При издательстве была также открыта студия с двумя отделами — учебным (на Литейном, 24) и просветительским (в Аничковом дворце). Учебный отдел проводил лекции и практические занятия по трем циклам: поэтическое искусство, искусство прозы и критика; в просветительском отделе читались публичные лекции о мировой литературе XIX и XX веков. В работе студии принимали участие известные писатели и ученые, в основном те же, кто работал и в издательстве: А. А. Блок, Ф. Д. Батюшков, А. М. Горький, Н. С. Гумилев, Е. И. Замятин,

Г. Л. и М. Л. Лозинские, С. Ф. Ольденбург, К. И. Чуковский, В. К. Шилейко, В. Б. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум и др.

Программой изданий, отбором материалов, рецензированием переводов ведали две коллегии экспертов — Западная и Восточная. В последней действовал все тот же хорошо известный нам коллектив востоковедов и среди них — И. Ю. Крачковский. Первое упоминание в его дневнике о «Всемирной литературе» относится к 10 января 1919 года: «Во вторник под председательством Ольденбурга раздумывали над предложением Горького организовать серию переводов с восточных языков» [А, оп. 2, № 6, л. 209 об.]. Это начало приведенной нами в предыдущей главе записи о том, что «о занятиях не может быть и помину... по соображениям холоду и меланхолии». Очевидно, Крачковского идея тогда не вдохновила, а через несколько дней он, как уже говорилось, увлекся переводом апокрифов по предложению С. А. Жебелева и то ли забыл о беседе с С. Ф. Ольденбургом, то ли отказался в этом проекте участвовать, если с ним еще раз заходили об этом разговор.

Тем временем была образована Восточная коллегия редакторов-экспертов (Западная коллегия уже функционировала) в составе С. Ф. Ольденбурга, В. М. Алексеева, Б. В. Владимирцова, Н. Я. Марра, П. К. Коковцова и А. Н. Тихонова, заведующего издательством. Тут же выяснилось, что П. К. Коковцову по состоянию здоровья трудно будет выполнять обязанности эксперта. Ольденбург снова начинает переговоры с Крачковским. Дело происходит уже в апреле, апокрифы почти кончены, на улице и в домах потеплело — и на этот раз предложение кажется Крачковскому более приемлемым: «Ольденбург паки приставал с "Всемирной литературой" Горького. Все это очень соблазнительно, но не знаю, как бы урвать время» [25 апр. 1919 г.; там же, л. 223]. 6 мая он уже принимает участие в заседании, избран в состав коллегии вместо Коковцова и по своему обыкновению сразу же активно включается в работу.

На заседаниях Восточной коллегии, помимо основного состава редакторов, обычно присутствовали и другие востоковеды: В. В. Бартольд, И. А. Орбели, В. Д. Смирнов, А. Н. Самойлович, молодежь, привлеченная к подготовке переводов, — словом, тут был все тот же круг. Составили списки старинных памятников и современных произведений, рекомендуемых для перевода, были подобраны исполнители — и работа закипела.

Немалую роль в привлечении ученых к сотрудничеству, особенно на первых порах, играло и то, что «Всемирная литература» давала неплохой приработок. В 1919 году за перевод, не требующий редактур, и за вводную статью выплачивалось 1500 р. за лист [13 июня 1919 г.; 2, протокол № 249]; в 1920 году в связи с инфляцией ставки были повышены уже до 3300 рублей за ту же работу. Кроме того, как вспоминает В. А. Крачковская, сотрудни-

кам выдавали продуктовые пайки (часто — рыбу, а иногда даже мясо), время от времени снабжали одеждой и посудой [А, оп. 7, № 27, л. 98].

Но главную роль, несомненно, играла духовная сторона этого начинания. В. М. Алексеев, секретарь Восточной коллегии, писал в годовом отчете (28 апреля 1919 г.—28 апреля 1920 г.): «Условия истекшего года были столь ужасны, что для большинства ориенталистов-переводчиков их сотрудничество вовсе не являлось добыванием необходимых средств к жизни, а прямо культурною данью культурного человека, живущего не одним лишь насущным моментом» [8, с. 255].

Вряд ли какое-нибудь другое предприятие могло бы в первые послереволюционные годы сыграть для ученых-гуманитариев такую значительную роль, как «Всемирная литература». Дело, без которого жизнь теряла смысл, оказывалось теперь не просто единственным убежищем, оплотом против «революционного хаоса», а трудом, хоть в какой-то степени примиряющим их с новой властью.

Ученые, далекие от политики, получили возможность применить свои знания для целей, близких любому патристически настроенному гражданину. Предполагалось, что популяризация будет вестись на достаточно высоком научном уровне. Книжки должны были выходить в двух сериях — основной, рассчитанной на «среднего интеллигентного читателя с гимназическим образованием», и народной, читателем которой мыслился «полунинтеллигентный пролетарий и крестьянин» [А, оп. 2, № 233, лл. 46—47].

Были четко определены требования к вступительным статьям. Так, например, предисловие общего характера должно было включать биографию автора, описание общественной и литературной среды, в которой он действовал, литературно-критический очерк деятельности, анализ литературных приемов, сведения о литературной судьбе произведения, но при всем этом материал не следовало излагать чересчур наукообразно, предисловие должно было представить перед читателем живой облик автора. Для народной серии обязательно разъяснение внутренней тематической сущности предлагаемых произведений — характеристика исторической и бытовой обстановки, отражение классовых взаимоотношений, литературных достоинств и т. п. Язык предисловий для народной серии «должен быть по возможности прост, популярен, не содержать литературных и иных ссылок, специальной терминологии и вообще иностранных слов» [там же, л. 48].

Правда, были еще демократические времена: боясь связывать авторскую свободу, руководство тут же оговаривало, что оно не собирается «стеснять и ограничивать индивидуальный подход сотрудника к его теме. Цель тезисов — внести некоторую плановость и единообразие в коллективную работу Издательства, а от-

нюдь не в том, чтобы создать мертвый шаблон для изготовления вступительных статей по заданному образцу» [там же, л. 49]¹.

Заседания редакционных коллегий издательства проходили сначала на Невском, 64, а с августа 1919 года — на Моховой улице, 36, два раза в неделю, по вторникам и четвергам. Обычно один день отдавался Восточной коллегии, другой — Западной, иногда заседания шли параллельно.

Работа во «Всемирной литературе» не только вовлекала ученых в широкую просветительскую деятельность — она множила и разнообразила их научные и литературные связи. Члены Восточной коллегии нередко посещали заседания Западной, ведь западники имели больше опыта по части популярных изданий. Так, у Крачковского в дневнике читаем: «27 мая 19 г. Всемирная литература, где заседание западного отдела. Посидел не без удовольствия, так как интересно было послушать, как у них идут дела» [А, оп. 2, № 6, л. 227]. «3 июня. На заседании западной коллегии был Горький, которого я впервые видел; разносил жестоко некоторые переводы Бальзака, Ибаньеса и др., главным образом, в смысле русского языка, и, надо сказать, основательно» [там же, л. 228].

Члены Западной коллегии тоже приходили иногда на «восточные» заседания. Крачковский записывает, например, 15 мая 1919 года: «В половине 6-го заседание "Всемирной литературы". Был сегодня еще Чуковский и Гумилев, которые вели себя скромно. Первый, по-видимому, основательнее» [там же, л. 226]. «4 июля 1919 г. У нас в восточном заседании впервые был Горький, вероятно по поводу его критики смирновского Сахиб Гирея. Критика, главным образом, в смысле стиля и выражений... В общем с ним все же можно толковать и слушает он внимательно» [там же, л. 231].

Разумеется, перед восточниками задачи стояли сложнее, и почти каждый шаг переводчиков был шагом по целине. Но западникам контакты с Востоком тоже были полезны: перед ними открывался неведомый ранее мир, рушивший привычный европоцентризм и представления об искусстве [см. 52, с. 54]. В частности, Блок записывает в дневнике 22 октября 1920 года: «Статья В. М. Алексеева о китайской литературе (подчеркнуто Блоком. — А. Д.). Новые горизонты и простор для новых обобщений. Связь и со "Всемирной литературой" и с тем, что есть в акмеизме» [13, т. 7, с. 372]².

Интересны были западникам и отзывы востоковедов, выступавших у них в качестве экспертов. Так, например, Крачковский обычно рецензировал переводы с ближневосточной тематикой — из Бенуа, Лоти, Мишле, Гауффа и др., а также переводы испанских и португальских писателей. Сохранившиеся наброски этих выступлений свидетельствуют об очень внимательном отношении к

делу, профессиональной компетенции и независимости мнений, расходившихся порой с оценками экспертов-западников³.

Бывало, что западники и восточники объединялись для совместной работы. Так, И. Ю. Крачковский принимал участие в издании перевода романа аргентинского писателя Эрике Ларрета «Подвиг Дон Рамиро», изображающего борьбу морисков против испанского короля Филиппа II. Ему принадлежала вступительная статья «Подвиг Дон Рамиро и арабская старина» и некоторые примечания; основное же предисловие, большая часть примечаний и редакция были выполнены Г. Л. Лозинским. Надо сказать, что это не было случайным эпизодом в их взаимоотношениях: Крачковский с сентября 1919 года брал у Лозинского уроки португальского языка и, в свою очередь, оказывал ему, активному переводчику с испанского и португальского, помощь в толковании часто встречавшихся в текстах арабских имен и терминов. После отъезда Г. Л. Лозинского за границу в 1921 году между ними долго шла дружеская переписка и обмен книжными новинками. Крачковский упомянул его в книге «Над арабскими рукописями», но, по известным причинам, анонимно [28, с. 111].

Так в недрах «Всемирной литературы» складывалось новое содружество с определенным кругом общих интересов и стилем взаимоотношений, была даже своя шуточная «мифология». В те трудные месяцы они были способны шутить — и как остроумно!

Сохранились и ждут своего издателя и комментатора пародийные «Ежегодники»; в 1970 году в Мюнхене вышла в собрании сочинений Е. И. Замятина написанная им в 1921—1922 гг. «Краткая история Всемирной литературы от основания до сего дня». В составлении «Ежегодников» участвовали и западники, и восточники, в частности китайцы во главе с В. М. Алексеевым. Публиковались в «Ежегоднике», например, такие «цензурные требования»:

«I. В словах, в которых хотя бы некоторая часть является неприемлемой, заменять эту часть многоточием: например "ры-царь" набирать ры...; "у-бог-ий" — у...ий; сюда же относятся слова "свят-ки" и "культура", которые следует писать "...ки" и "...ура".

II. Слова: душа, интеллект, ум, умный, дворец, дворецкий, двор, дворняжка, цепи, ошейник снабжать подстрочными примечаниями, что они употребляются в дискуссионном порядке.

III. Окончательно и навсегда изгнать букву "ять", которая еще гнездится в некоторых словах. Так: Зам-ят-ин отныне должен подписываться Зам-е-ин; слово "приятель" будет писаться "приесель", слово "сиять" совсем придется выбросить из употребления, так как, если его набирать как "сне", оно покажется чересчур устарелым современному уху» [А, оп. 2, № 109, л. 17].

Расхождения между экспертами Западной и Восточной коллегий касались прежде всего принципов перевода.

Опыта художественного перевода у востоковедов не было, по сути, совсем, и поэтому работа Восточной коллегии начиналась с обсуждения новых положений, которыми они будут руководствоваться в дальнейшем. Члены Западной коллегии уже успели выпустить брошюру «Принципы художественного перевода», содержащую статьи Н. С. Гумилева (переводы стихотворные) и К. И. Чуковского (переводы прозаические), но востоковедами их принципы были отвергнуты. В этом не было ничего удивительного: подход художника столкнулся с подходом филолога, чтящего прежде всего вербальную точность. Тем более что востоковедам, обычно имеющим дело с трудно расшифровываемыми текстами, свойственно особо скрупулезное отношение к их толкованию. Переводы, включавшиеся в научные труды, делались обычно так, что сквозь ткань русского текста как бы просвечивал восточный. Они предназначались в первую очередь для читателя-специалиста, показывая, как автор интерпретирует то или иное, часто спорное место в памятнике.

Влияние такого подхода, убежденность, что для каждого слова подлинника переводчик должен подобрать именно одно эквивалентное слово, в той или иной степени сказались в восточных переводах «Всемирной литературы», которые противники несколько презрительно окрестили «профессорскими»⁴. Впоследствии, оценивая их труд, известный советский теоретик перевода А. В. Федоров скажет, что эти переводы отличались «прежде всего чрезвычайной добросовестностью в передаче смыслового содержания подлинника и вниманием к его формальным особенностям», однако «не были местами свободны от налета дословности, а форма оригинала воспроизводилась кое-где чрезмерно прямолинейно, без должного учета условий и требований русского языка» [49, с. 86].

И все-таки полного единства в подходе к переводу не было и у востоковедов. Ученые, имевшие вкус главным образом к художественной литературе, как, например, В. М. Алексеев и И. Ю. Крачковский, ощущали порой возникавшее в их работе противоречие между научными и эстетическими задачами перевода. Не об этом ли противоречии свидетельствует специально опущенная мною фраза И. Ю. Крачковского в рассказе о его споре с Горьким, критиковавшим перевод В. Д. Смирнова «в смысле стиля и выражений»: «Пришлось мне отчасти отстаивать то, что я сам не одобряю» [А, оп. 2, № 6, л. 231 об.].

Для Крачковского фраза странная — не в его обычаях отстаивать то, с чем он внутренне не согласен. Вероятно, она имеет отношение к представленному им «Всемирной литературе» на этом же заседании 4 июля 1919 года переводу «Повести о Варлааме и Иоасафе» из архива В. Р. Розева. Дело в том, что здесь он оказался перед дилеммой: долгом для себя считал выпустить перевод своего учителя в том виде, как он был подготовлен им для печати, и в то же время понимал некоторое несоответствие это-

го перевода требованиям «Всемирной литературы», что могло повлечь за собой нежелательное вмешательство стороннего редактора. Убедившись, однако, что с Горьким «все же можно толковать», Крачковский «воспользовался этим случаем, чтобы предупредить насчет "Варлаама", за перевод которого, боюсь, мне нагорит» [там же, л. 231 об.].

Вот как его представление «Варлаама» отражено в протоколе Восточной коллегии: «Оригинал, по-видимому, не арабского происхождения, но перевод барона Розена сделан столь буквально и столь заботливо, что лучше всего оставить его в неприкосновенности, без редактуры, хотя в таком виде повесть будет средним читателем читаться не без труда. Этот необыкновенно дословный и выдержанный во всех своих основных принципах перевод он [Крачковский] не колеблясь поместил бы в научном издании, но для "Всемирной литературы" перевод будет, по-видимому, тяжеловат. Однако, приложить в соответственном направлении руку редактора представляется нежелательным, тем более, что рукопись носит все следы окончательной отделки покойного автора» [2, прот. № 252].

На заседании 11 июля Н. Я. Марр, А. Н. Тихонов и др. одобрили перевод: «Пусть читатель привыкает к оригинальному укладу речи» [2, № 253]. Однако издание тогда осуществлено не было.

Проблема подхода к переводу продолжала оставаться острой для востоковедов. И если некоторые переводчики, в частности тот же В. Д. Смирнов, резко выступали против вмешательства специалистов и посягательства на индивидуальный стиль автора, то В. М. Алексеев и И. Ю. Крачковский пытались вносить какие-то конструктивные предложения. Так, В. М. Алексеев выдвинул идею двух вариантов перевода — для основной и для народной серии.

Горячие споры вызывал вопрос о допустимости поэтических переложений, подразумевающих, волей-неволей, отход от вербальной точности. В. М. Алексеев считал стихотворную обработку возможной; большинство резко выступало против. И. Ю. Крачковский выдвигал альтернативу: или прозаический перевод стихов — или ритмический, воспроизводящий размеры подлинника, но — для большей точности — без рифмы. Замечу, правда, что когда в 1923 году его ученик В. А. Эберман, обладавший несомненным поэтическим даром, предложил свой опыт стихотворного перевода арабской средневековой лирики, Крачковский этот опыт — действительно удачный — одобрил.

Оба — и Алексеев, и Крачковский — понимали необходимость выработать единые принципиальные требования к переводам. В. М. Алексеев предлагал закончить серию восточных переводов особым трактатом на эту тему [29 авг. 1919 г.; 2, протокол № 260] или составить ряд отдельных очерков. Об этом подумывал и Крач-

ковский, особенно после выхода второго издания «Принципов художественного перевода» с «великолепной статьей Батюшкова. Хотелось бы сделать что-нибудь аналогичное по Востоку, но едва ли сформируется путно» [10 апр. 1920 г.; А, оп. 2, № 6, л. 252]⁵.

Вопрос о принципах перевода, несомненно, очень волновал Крачковского. В его архиве помимо общих переводческих деклараций «Всемирной литературы» сохранилось много относящихся к этому времени листочков с выписками из различных авторов, так или иначе затрагивавших вопрос о переводе в применении к арабистике; обычно это были выписки из рецензий, предисловий к переводам, иногда случайные замечания; вспомним, что выписки эти он делал даже в тюрьме. Среди авторитетов здесь чаще других фигурирует В. Р. Розен; встречаются выписки из Захау, Нельдеке, Гейера, Пальмера, Д. Зелинского или библиографические ссылки на них. По этим карточкам видно, что главное для него — уловить диалектику сочетания передачи точного смысла и художественной формы переводимого произведения. На некоторых карточках — примеры на грамматические субституты и замены из собственной практики. Но эти материалы все же не вылились ни в статью, ни в доклад.

Да и вообще план создания очерков о переводе с восточных языков так и остался нереализованным. Зато было осуществлено другое предложение В. М. Алексеева — написать серию маленьких очерков по каждой литературе Востока, для того чтобы ввести русских читателей в этот необычный для них культурный ареал. Очерки были написаны весьма оперативно: 22 мая 1919 года В. М. Алексеев внес предложение на заседании Восточной коллегии, а 13 июня уже обсуждается очерк арабской литературы, подготовленный Крачковским. Очерки были опубликованы двумя выпусками в 1919 и 1920 годах [35].

После обсуждения программ и очерков литератур, после споров о теоретических принципах перевода, с середины июля стали поступать уже готовые работы, которые представлялись и рецензировались членами коллегии.

Несмотря на то что поначалу Крачковский, как было сказано, к предложению сотрудничать во «Всемирной литературе» отнесся без особого энтузиазма, в дальнейшем он, согласившись, оказался по своему обычаю одним из самых активных и обязательных ее деятелей и аккуратнейшим образом посещал все заседания. В воспоминаниях В. А. Крачковской приводится такой эпизод: 23 сентября 1924 года, в день начала знаменитого наводнения, Крачковский, несмотря ни на что, отправился-таки на заседание «Всемирной литературы» — с Петроградской стороны на Моховую улицу, — но оказался там в единственном числе [А, оп. 7, № 28, л. 20]. Он не отказывался ни от каких поручений ни по Восточной ни по Западной коллегии, все исполнял в срок с присущей ему тщательностью. И — это стало уже обычным — во «Всемирной

литературе» Крачковский также приобрел прочный авторитет, так что в 1921 году А. Н. Тихонов даже предложил ему возглавить издательство на время его отъезда, от чего Крачковский, правда, отказался.

В работе Восточной коллегии тон задавали Алексеев с Крачковским. На плечи последнего легла ответственность за все переводы с арабского, которые в общем плане занимали 53 позиции, включающие преимущественно средневековые прозаические и поэтические памятники; среди них планировались некоторые произведения крупных масштабов, как, например, «1001 ночь», народные («рыцарские») романы и т. п.

Разумеется, и речи не могло идти о том, чтобы Крачковскому взять на себя все запланированные переводы. В наличии же имелся лишь один — розеновский перевод «Повести о Варлааме и Иоасафе».

Итак, необходимо было найти переводчиков. Собственно, здесь существовала одна возможность: привлечь к делу молодежь. 10 мая 1919 года, то есть через четыре дня после начала работы в коллегии, Крачковский записывает в дневник: «Распределил своим студентам для пробы перевода листы "Калилы и Димны"» [А, оп. 2, № 6, л. 225]. Очевидно, в результате этого испытания и формируется круг молодых переводчиков-арабистов: И. П. Кузьмин, М. А. Салье, В. А. Эберман, Р. Л. Эрлих. Пытался Крачковский привлечь к делу и Веру Александровну — в дневнике есть записи о том, что он просматривал начатый ею перевод «Книги назидания» Усамы ибн Мункыза [17, 28 и 29 июня 1919 г.; там же, лл. 229, 230 об.], но, очевидно, к тому времени она не обладала еще достаточной арабистической подготовкой, и перевод был передан М. А. Салье.

На первых порах работа была распределена следующим образом: Кузьмин — «Хайй ибн Якзан» Ибн Туфейля и «Мудрость Хикара»; Салье — «Басни Лукмана» и (очевидно, с июля 1919 г.) — «Книга назидания» Усамы ибн Мункыза; Эберман — «1001 ночь»; Эрлих — «Чудеса Индии» Бузурга ибн Шахрияра. Сам Крачковский не откладывая взялся за просмотр «Варлаама». Об интенсивности его работы свидетельствуют дневниковые записи: 14 вечеров (между 19 мая и 23 июня) ушло на первый просмотр «Варлаама», начатый на другой же день после окончания работы над «Евангелием детства»; 9 вечеров (между 26 июня и 12 июля) — на вторичный просмотр перевода и «чистку языка»; к 27 июля закончено предисловие.

Распределяя тексты между юными переводчиками, Крачковский, несомненно, считал для себя обязательным держать их работу под постоянным контролем. Все переводы, выполненные для «Всемирной литературы», проходили его строжайшую редактуру, и тоже в достаточно сжатые сроки. Так, 12 сентября 1919 года Крачковский представляет коллегии отредактированный им пере-

вод «Басен Лукмана», которые должны были войти в одну книжку с «Мудростью Хикара», а 17 сентября уже берется за редактуру Ибн Туфейля. 9 октября эту работу он заканчивает и 19 октября начинает писать предисловие к «Хикару» и «Лукману» (к Ибн Туфейлю Кузьмин пишет предисловие сам), а затем сразу берется за редактуру перевода «Хикара» и 17 ноября ее кончает.

Далее в записях трехмесячный перерыв из-за страшного холода, а когда в марте 1920 года записи возобновляются, то оказывается, что в эти тяжкие холодные месяцы Крачковский успел начерно отредактировать «Чудеса Индии» в переводе Эрлих и сказку из «1001 ночи» в переводе Эбермана. В марте 1920 года он берется за перевод Салье — «Книгу назидания» Усамы ибн Мункыза. В дневнике, вплоть до сентября, — более тридцати кратких записей об этой работе, причем в промежутках Крачковский успевает отредактировать «Чудеса Индии» уже начисто.

Тем временем Кузьмин, вошедший во вкус, берется за перевод «Калилы и Димны», его надо консультировать, ибо перевод этого памятника, по словам Крачковского, «выходит сложнее, чем я думал» [27 мая 1920 г.; там же, л. 253 об.]. Тут же Крачковский берется за черновую редактуру готовых частей перевода, заканчивает ее к новому, 1921 году, отрываясь попутно на редактуру эбермановской «1001 ночи» (конец июля—сентябрь и ноябрь—декабрь) и на просмотр «Книги о скупых» аль-Джахиза (апрель 1920-го), образцы перевода из которой прислали для «Всемирной литературы» московские арабисты Х. К. Баранов и М. Аттая, а кроме того пишет предисловие к Усаме (сентябрь — октябрь), которое что-то долго не ладится.

Из пяти переводов, отредактированных начисто за этот короткий срок, три вышли в свет очень быстро: «Мудрость Хикара» с «Баснями Лукмана» и «Хайй ибн Якзан» в 1920 году, «Книга назидания» — в 1922-м. К «Чудесам Индии» решено было прибавить перевод «Путешествий Синдбада» из «1001 ночи», которым и занялась Эрлих, так что издание было отложено; почему не был тогда же напечатан розеновский перевод «Варлаама» — неясно.

В 1921—1922 годы редакторская деятельность продолжалась, но не столь интенсивно: Крачковский отредактировал законченные Эрлих к маю 1921 г. «Путешествия Синдбада», назидательную «Книгу аль-Фахри» Ибн ат-Тыктаки в переводе Салье (представлена Восточной коллегии 27 мая 1921 г.) и «Эфиопские хроники» из наследия своего учителя Б. А. Тураева, скончавшегося летом 1920 года. Постепенно двигалась редакция «1001 ночи», с переводом которой Эберман, по-видимому, не слишком торопился. Затянувшаяся работа над «Калилой и Димной» с внезапной смертью Кузьмина в мае 1922 года прервалась было совсем. Но уже в марте 1923 года Крачковский докладывает на коллегии, что выполненная Кузьминым часть перевода им просмотрена и он готов закончить перевод и написать предисловие [20 марта 1923 г.; 2,

прот. № 416], а 31 июля того же года уже представляет готовую работу: перевод заново просмотрен, дополнен недостающими главами, снабжен вступительной статьей и библиографией. В приложении добавляет Крачковский, «желательно было бы поместить некролог покойного переводчика, который много потрудился над этой работой» [2, прот. № 433]. Предложение Крачковского было одобрено, однако издать «Калилу и Димну» «Всемирная литература» уже не успела, равно как и «Чудеса Индии» и «Книгу аль-Фахри». Тем не менее переводческая деятельность ленинградской школы под руководством И. Ю. Крачковского в дальнейшем имела свое продолжение, но об этом в следующих главах.

Посвящая столько времени и сил организации переводческой работы и редактуре, Крачковский в эти годы много переводил и сам. Нет, не по обязанности — он, несомненно, давал волю самым сокровенным своим научным и художественным пристрастиям.

27 июля 1919 года, кончив «чистку» предисловия к «Варламу», он тут же записывает: «Начинаю слегка подумывать об «эмигрантах»» [А, оп. 2, № 6, л. 232 об.]. «Эмигранты» — это писатели — выходцы из ливанских семей, эмигрировавших в конце прошлого века в США или в Бразилию; их сообществу он впоследствии даст название «сиро-американская школа», предугадывая значение этих писателей для всего развития арабской литературы в XX веке. И. Ю. не останавливает ругательная статья в прессе о его переводах из Амина Рейхани — тоже сироамериканца; в правильности своего выбора он уверен, да кроме того, мне кажется, никто из новых арабских писателей так не отвечал его душевному складу, как сиро-американские романтики, правда, не столько Рейхани, сколько другой лидер этой группы Джебран Халиль Джебран. Об этом пристрастии говорят его собственные «пробы» арабского сочинительства, о которых было упомянуто в главе о путешествии на Восток, — лирические стихотворения в прозе типично сиро-американского стиля.

Вероятно, перевод Джебрана очень манил Крачковского: стоило 27 июля о нем «слегка подумать», как, едва успев просмотреть очередной «транспорт» от Салье, он тут же 30 июля берется за джебрановские стихотворения в прозе и работает над их переводом весь август. И тут происходит удивительное слияние поэта и переводчика, они настолько созвучны друг другу, настолько близки по духу, что «профессорский» перевод с установкой на буквальность передачи вдруг начинает звучать подлинной поэзией, движется легко и свободно, так что у современных редакторов, далеко ушедших от строгости «Всемирной литературы», на этот перевод не поднимается рука. Больше такого внутреннего родства не возникло ни с кем, даже с Рейхани, которому Крачковский очень симпатизировал и с которым (несколько позднее) состоял в переписке.

Работал Крачковский над своими «эмигрантами» с большим подъемом, но, естественно, урывками, так что рукопись была представлена в Восточную коллегию лишь почти через два года. Это был сборник объемом около 15 листов, распадавшийся на три части: статьи, речи и верлибры Амина Рейхани, стихотворения в прозе и отрывки из трех повестей Джебрана; юмористическая повесть «Народный подарок» бразильца Шукри Хури; публицистика и литературная критика Сулеймана аль-Бустани, Лунса Шейхо, Амина аль-Греййба и Насиба Арыды. Сборник был высоко оценен С. Ф. Ольденбургом и другими членами коллегии, но так и не увидел света.

В протоколе Восточной коллегии от 8 мая 1923 года сказано кратко: «Из цензуры получен том "Арабские эмигранты в Америке". Цензура предлагает не печатать весь том, а взять лишь десять рассказов» [2, протокол № 422]. В архиве же И. Ю. Крачковского сохранился «Политический отзыв» некоего Волкова (без инициалов) на эту рукопись, датированный 30 апреля (без года) и снабженный специальной номерной карточкой — то есть, очевидно, это и есть то самое цензурное запрещение. В «политическом» отзыве сиро-американским писателям инкриминировалось, что все их произведения «полны призыва к личному самосовершенствованию, протеста против партийности и общественной жизни, мистикой, своеобразной религиозностью, индивидуализмом, наивным национализмом и т. п.», а включенные в сборник арабские критические статьи «никакой ясности для характеристики писателей эмигрантов не вносят»; предисловие же Крачковского «весьма поверхностно касается общественных мотивов произведений» [А, оп. 2, № 74, л. 1], при этом в самой рукописи рецензентом подчеркнуты наиболее «одиозные» места. Сказано и о возможности журнальной публикации «максимум десяти» из этих произведений «с соответствующим предисловием» [там же].

Так И. Ю. Крачковский впервые столкнулся с советской политической цензурой, предписывающей обязательное соответствие всей печатной продукции «диалектико-материалистическому творческому методу», а если арабские романтики начала XX века смеют ему не соответствовать, то тем хуже для них и печатать их нечего. Том «Арабские эмигранты в Америке» остался в архиве Крачковского; впоследствии некоторые из входивших в него переводов Джебрана и Рейхани были опубликованы его учениками.

К этому же периоду «Всемирной литературы» относится начало еще одного переводческого замысла Крачковского, реализация которого будет иметь долгую и трудную историю. С марта 1920 года, в разгар работы над «эмигрантами», над редактурой чужих переводов, в дневнике вдруг появляются записи о чтении различных трудов по Корану: Д. Мюллера («Не убедил он меня в строфичности Корана и думаю, что это только фантазия» [25 марта 1920 г.; А, оп. 2, № 6, л. 246]), Макдональда, Хиршфельда,

Нельдеке и др., и возникает постоянное ощущение, что это не случайно, словно какая-то навязчивая идея: «К Корану по-прежнему тянет...» [21 апр.; там же, л. 250], «немного опять шевелил Коран, который совсем застыл» [5 мая; там же, л. 251 об.] и т. п.

Наконец 29 мая «тайна» тяги к этому памятнику раскрывается: «Соблазняет меня мысль о переводе Корана — и как-то жутко на ней остановиться» [там же, л. 285]. И через неделю опять: «Как-то страшно все же думать о переводе Корана» [6 июня; там же, л. 286]. Тут же находится объяснение: «Очень уж это в материальном отношении невыгодно». Но, полагаю, не только в этом дело: Крачковский чувствовал и понимал, что эта работа пока ему не по плечу — он еще не вчитался как следует в текст, не ощущает его таким же «своим», как поэзию, и если браться теперь за него, нужно до конца подчинить себя именно этой работе, она не пойдет между делом, подобно Рейхани...

С 1921/22 учебного года Крачковский приступает в Университете к новому курсу: «Чтение Корана с научным комментарием», который он и вел потом до конца своих университетских дней. Так появляется повод — более того, обязанность! — приступить-таки к переводу Корана. 16 апреля 1922 года, подводя итог сделанному за зиму, он записывает между прочим: «Писал тоже по мере лекций перевод Корана — закончил первый период» [там же, л. 300]. О том, как это начинание развивалось дальше и какие препоны встречало на пути, речь пойдет в следующих главах.

С преподавательской деятельностью Крачковского связана была еще одна дорогая его сердцу переводческая работа — древняя поэзия. В 1920 году Крачковский был приглашен читать лекции в Институте истории искусств. Особенность тамошней аудитории состояла в том, что она не была знакома с арабским языком, поэтому для курса арабской поэзии переводы были необходимы: вот и реальный толчок к осуществлению еще одного потаенного замысла.

Нет нужды говорить о том, что при переводе поэзии вопрос о передаче формы (в первую очередь размера и рифмы) играет особую роль. На одном из заседаний коллегии, посвященном разбору перевода «Шахнаме», Крачковский, как уже говорилось, предлагал альтернативное решение: или прозаический перевод — или ритмический (размером подлинника). Теперь, исходя из своих возможностей, он выбрал для себя первый путь. Начал с муаллаки доисламского поэта Антары (2 июня 1921 г.) — и тут же увлекся: в июне записи о работе над поэмами почти каждодневные, и вот тогда-то проект перевода Корана начинает отходить на задний план: «Кажется, очередным переводом для "Литературы" сделаю все-таки поэзию, а не Коран» [12 июня; там же, л. 286 об.]. Хотя он отдает себе отчет, что «и это в материальном отношении, увы! невыгодно» [8 июня; там же, л. 286].

За июль—сентябрь 1921 года была сделана большая подборка переводов из древней поэзии: несколько десятков стихотворений (некоторые — по сотне и более бейтов) восемнадцати поэтов. Это подстрочные прозаические переводы, хорошо продуманные, однако порой тяжелые по языку и в отдельных фразах даже малопонятные, но тем не менее сохраняющие в чем-то специфику и прелесть непосредственности древней поэзии бедуинов. Для учебных целей этот перевод, несомненно, был весьма полезен: «Проделал опыт с лекциями о поэзии для не знающих языка и нахожу его вполне возможным» [30 мая 1921 г.; там же, л. 285]⁶. Однако «Всемирной литературе», в плане изданий которой «Древняя арабская поэзия» стояла, он этот свой труд почему-то не предложил — или считал его незаконченным, или художественно несовершенным. Из всей обширной подборки увидело свет только одно большое стихотворение аш-Шанфары, которое Крачковский озаглавил «Песнь пустыни» [62, № 4, с. 58—64]. В предисловии к этой публикации он, без всякого самообольщения, так оценивает значение своего перевода: «Филологический перевод не претендует на самостоятельное художественное значение, прежде всего потому, что он исполнен прозой и ни в какой мере не передает форму оригинала... Переводчик желал только представить читателю не всем доступный оригинал в возможной близости, чтобы дать почувствовать аромат арабской оболочки сквозь русскую передачу» [там же, с. 59]. На мой взгляд, эта оценка вполне справедлива: хоть стихи в передаче Крачковского перестали быть стихами, «аромат арабской оболочки» в них ощущается сильнее, чем в иных благозвучных стихотворных переводах, выполненных ремесленниками. Вспоминая, наверное, переводческие опыты Юлии Юлиановны, или, может быть, вдохновляясь Ибн Хамдисом Эбермана, Крачковский в конце предисловия высказывает надежду, «что его работа послужит опорой для поэта, который пожелает воплотить "Песнь пустыни" в русских стихах». Возможно, эта публикация представляла своего рода «пробный шар»: ведь и Ю. Ю. Снитко, и В. А. Эберман переводили лирику, стихи малых форм, притом более поздние. А можно ли найти адекватную русскую форму для чисто бедуинской поэмы? Увы, при его жизни таких попыток сделано не было.

«Всемирной литературе» советское востоковедение обязано и созданием первого востоковедного литературного журнала «Восток» — уникального издания, выходившего в 1922—1925 годах, подобного которому у нас с тех пор не появлялось. «Восток» имел подзаголовок: «Журнал литературы, науки и искусства»; в нем печатались новые переводы с восточных языков (иногда — отрывки тех произведений, которые должны были вскоре появиться отдельным изданием с грифом «Всемирной литературы»), статьи на литературные и историко-культурные темы, востоковедная библио-

графия, сообщения о деятельности востоковедных учреждений у нас и за рубежом, некрологи, мелкие хроникальные заметки.

С. Ф. Ольденбург во вступительной статье первого номера журнала писал о его задачах так: «Мы хотим поставить Восток ближе к широким кругам русских сознательных людей, ибо мы знаем, что старый Восток, великий творец в области духа, дал нам вечные образцы, которые никогда не потеряют своего значения для человека и никогда не будут так повторены. И вместе с тем мы знаем, что новый Восток полон тоже великих возможностей, заветы старого не умерли в нем, но он должен претворить их в новые образы, дать новые достижения».

Мы уверены, что России и Западу нужно знать и древний, и новый Восток, без этого знания наша жизнь будет беднее и однобожнее. Чтобы свершилось, наконец, давно желанное глубокое и настоящее единение Востока и Запада, необходимо полное взаимное понимание, к нему мы стремимся и хотим по мере сил ему помочь» [62, № 1, с. 6].

Инициатором создания журнала был А. Н. Тихонов, в редакцию помимо него вошли В. М. Алексеев, Б. Я. Владимирцов, И. Ю. Крачковский, С. Ф. Ольденбург. Последний осуществлял общее руководство журналом и взял на себя отдел хроники, библиографией ведал В. М. Алексеев, отделом беллетристики — И. Ю. Крачковский. Журнал выходил не регулярно, а по мере накопления материала, который отбирался и обсуждался так же тщательно, как для отдельных изданий. С 1922 по 1925 годы вышло пять книжек журнала объемом по 150—200 страниц каждая; на этом «Восток», к сожалению, прекратил существование.

Арабисты подготовили свой план для «Востока», состоявший из двух частей: переводы и статьи. План, сохранившийся в архиве Крачковского [А, оп. 2, № 233, л. 33], написан, как кажется, рукой Эбермана, да возможно и составлен им, особенно по части переводов, где фигурируют в основном средневековые поэты, среди которых на первом месте Ибн Хамдис (переводы его стихов, выполненные Эберманом, напечатаны в кн. 3 «Востока», 1923). Планировалось также поместить в журнале макам аль-Харири, суру или две Корана, отрывки из «Книги песен» аль-Исфахани, «1001 ночи», народного романа об Антаре и др.

Список статей тоже составлен с размахом. В нем отразились интересы и учителя, и ученика, а реализованы в «Востоке» были из этого списка всего две темы: «Ближний Восток в русской поэзии» (В. А. Эберман. Арабы и персы в русской поэзии [62, № 3, с. 108—125]) и «Историко-литературные монографии об отдельных эпохах» — не в полном объеме, разумеется, а в форме двух статей И. Ю. Крачковского.

«Восток» в биографии Крачковского — немаловажный этап. Здесь он мог, прежде всего, продолжить работу по двум своим основным линиям: классическая арабская поэзия и новоарабская

литература; христианско-арабская линия, как это будет ясно, нашла отражение в журнале «Христианский Восток».

Именно в «Востоке» Крачковский опубликовал тогда важные обобщающие работы по обоим упомянутым линиям: «Возникновение и развитие новоарабской литературы» [62, № 1, с. 67—73], о которой уже говорилось выше, и «Арабскую поэзию» [62, № 4, с. 97—112], кстати также выросшую на лекционной основе. Это был первый в русской арабистике очерк развития арабской поэзии от доисламских времен вплоть до XX века, разворачивающий перед читателем удивительно динамичную панораму движения арабской поэзии от этапа к этапу в сложном сплетении традиций и нового. И в этом очерке Крачковский остался верен выработанному им эстетическому подходу к арабскому поэтическому наследию.

С этими же двумя направлениями были связаны и немногочисленные его переводы, опубликованные на страницах «Востока», и некоторые мелкие статьи. Популяризаторский дар Крачковского, открывшийся в первом же его юношеском докладе об Абу-ль-Атахи, нашел здесь прекрасное применение: его статьи, при всей их строгой научной корректности и новаторстве в концептуальном плане, были доступны для понимания даже неподготовленному читателю.

Не менее важна была роль Крачковского в выполнении тех задач «Востока», которые специально не декларировались во вступительной статье С. Ф. Ольденбурга: журнал был призван консолидировать востоковедные силы Петрограда, способствуя сохранению традиций классической русской исторической и филологической науки, поддерживать ощущение постоянной связи с другими научными центрами в нашей стране и за рубежом. И вот здесь Крачковский, неутомимый книголюб и любитель библиографии, оказался в своей стихии. Он был чуть ли не самым активным сотрудником достаточно обширных хроникально-библиографических отделов журнала. Характерно, что к моменту формирования № 1 он, очевидно, обладал наиболее богатой информацией по этой части: в отделе «Востоковедение» ему принадлежат 10 заметок из 14, а в «Библиографии» — 11 из 22.

При всей замкнутости своей натуры, Крачковский в науке был несомненно экстравертом: его всегда интересовало то, что пишут другие, у него буквально руки чесались написать рецензию на новую книгу или статью; с многими учеными он вел переписку, с готовностью откликался на все просьбы и охотно делился с коллегами разнообразными сведениями, почерпнутыми из книг, журналов и частных сообщений. Естественно, его всегда интересовали и чужие отклики на его собственные работы, ему, который так долго страдал комплексом научной неполноценности, было важно, как его поймут и воспримут. Не отсюда ли свойственная ему «популяризаторская» ясность стиля?

Интерес и уважение к деятельности коллег и предшественников стимулировал развитие еще одного направления его трудов, о котором говорилось выше, — история востоковедения. Здесь «Восток» также открывал широкие возможности. Часто, увы, приходилось обращаться к этой тематике по печальным поводам: в эти трудные годы и русское, и европейское востоковедение недосчитывалось многих. Некрологи, написанные Крачковским, никогда не превращались в стандартное славословие — они всегда содержали серьезный, хоть и сжатый, анализ научной деятельности усопшего, попытку оценить его место в истории науки. Так постепенно накапливался материал для капитальных трудов и в этой области.

В следующей главе я ненадолго вернусь еще к «Востоку» в жизни Крачковского, выскажу еще одно соображение, почему этот журнал мог иметь для него особую важность.

Заканчивая рассказ о деятельности востоковедов во «Всемирной литературе», хочу обратить внимание на одно обстоятельство. Не надо представлять ее себе неким идиллическим царством, где все только и делали, что помогали друг другу и расточали взаимные комплименты. Как это свойственно подлинным ученым, они отделяли «общую доброжелательность от научного критицизма» — эти слова, сказанные В. М. Алексеевым о С. Ф. Ольденбурге [8, с. 20] можно отнести ко всем членам Восточной коллегии.

На заседаниях ее кипели страсти. Оценка того или иного перевода нередко вызывала ожесточенные споры, искали среди членов коллегии «третьего судью». Как бы то ни было, мы не встретим в протоколах ни одной заведомо комплиментарной оценки или равнодушной отписки. Критика высказывалась обоснованная, нелицеприятная, порой жесткая. Так, И. Ю. Крачковский, при всей его «чуткости и деликатности», отмеченных в свое время В. М. Алексеевым [69, 1986, № 6, с. 53], мог дать такую убийственную характеристику переводу одного из памятников турецкого эпоса:

«Стиль перевода в общем бледен, не выдержан и неравномерен: наряду с более удавшимися частями встречаются тяжелые отрывки... К такому субъективному, быть может, впечатлению читателя присоединяется ряд объективных недостатков, которые могут быть сведены в следующие четыре категории:

1. Тяжелые, неудачные и неправильные конструкции и обороты;
2. Слова и сочетания, резко нарушающие стиль поэтически-эпического повествования;
3. Провинциализмы, малоупотребительные и несуществующие слова и выражения;
4. Неблагозвучные сочетания...

Предисловие по самому подходу не соответствует идее издательства — многословное исследование материала, больше похоже

на доклад в научном обществе... Характер изложения, как в переводе, — бледен и растянут» [протокольная запись устного выступления 19 сент. 1919 г.; 2, прот. № 262].

Особенно бурно обсуждался состав каждого номера журнала «Восток». И неудивительно: востоковеды впервые получили реальную возможность и популяризации знаний о Востоке, и самовыражения (это ведь было не то, что строгие академические «Записки Восточного отделения»!). Многих буквально захлестывало желание поделиться накопленным не только с ближайшими сотрудниками, заразить своей одержимостью тех, для кого Восток оставался неизведанным миром. И тут возникали яростные споры о количестве материала, представляющего каждую из восточных культур, и о соответствии этого материала требованиям и возможностям журнала.

Самым эмоциональным, самым безудержным спорщиком был В. М. Алексеев. Его темпераментность и упрямство в постоянном стремлении отстаивать свой материал, конечно, доставляли коллегам по «Всемирной» немалые трудности. Недаром К. И. Чуковский называет его в дневнике «тупоголовым китайцем», с досадой говорит о его «бестактных бездарных выпадах» и т. д. [71, 1990, № 8, с. 162]. Уверена, доживи Чуковский до возможности самому опубликовать свои дневники, он, оглядываясь назад, опустил бы эти несправедливые и грубые оценки, продиктованные сиюминутным раздражением. Но об этом теперь поздно сожалеть.

Споры с Алексеевым изрядно мучили Крачковского. В дружеском письме к Г. Л. Лозинскому (который в это время уже в Париже), он сетует: «Большая беда с В. М. Алексеевым, который благодаря своему резко индивидуалистическому укладу не может войти в коллегиальную работу и не желает считаться с общежурнальными условиями»⁷.

Это письмо и дневниковую запись⁸ Крачковского (надо полагать, приблизительно одновременную) иллюстрирует любопытное свидетельство со стороны — того же К. И. Чуковского, — как Крачковский «с великолепной четкостью, деликатностью, вежливостью» критиковал на коллегии материалы В. М. Алексеева: «Я восхищался Крачковским, он был так неумолимо ясен, точен — и, главное, смел... Тихонов потом сказал мне, что Крачковский накануне своего выступления не спал всю ночь. Но произносил он свою критику обычным ровным, усыпительно-бесстрастным тоном — как всегда, не повышая, не понижая голоса, и если не смотреть на него, можно было бы сказать, что он равнодушно читает какую-то книгу, которая ему неинтересна и даже — непонятна. Алексеев устроил величайшую бурю: заявил о своем уходе и проч. — но через 3 часа его укротили и он пошел на уступки» [там же].

Чуковский, пожалуй, недопонимает ситуацию: не в смелости даже тут дело, тут друг критикует друга с принятой в их общест-

ве «жесткой, неумолимой, порой максималистской требовательностью» [69, 1986, № 6, с. 153], зная, как больно ему делает, отсюда и бессонная ночь накануне, и наименее ранящий «усыпительно-бесстрастный тон». М. В. Баньковская, повествуя о деловых взаимоотношениях тогдашних востоковедов, пишет с некоторым пафосом: «Задетые самолюбия жалости не вызывали, амбициозность почиталась невежеством. Постыдной боязни испортить отношения они не знали, так как вообще не считали возможным переносить в науку подобные обывательские мерки» [там же]. Так-то оно так — но ведь возникали же бури «вплоть до заявлений об уходе», и, по словам Крачковского, «на нервы все это действовало, конечно, жестоким образом» [А, оп. 2, № 6, л. 299 об.].

Однако обиды проходили, сменяясь ощущением своей неправоты, и в конечном счете эти взрывы на общую дружескую и творческую атмосферу не влияли. Характерно, что Алексеев и Крачковский сохранили дружбу до конца своих дней. И через много лет в юбилейной статье, вспоминая о совместной работе в Восточной коллегии, Алексеев скажет о своем друге: «Наилучшие экспертизы (для отдачи в перевод) литератур на 26 языках мира во "Всемирной литературе"... а также наилучшая востоковедная, переводческая и научная продукция в этом издательстве принадлежали, конечно, только ему» [8, с. 50].

Далеко не все планы «Всемирной литературы» были осуществлены и не все подготовленные к изданию материалы увидели свет. Тому целый клубок причин: недостаток денежных средств, бумаги, тяжелое положение на книжном рынке (зависящее частично от плохой организации), сложные отношения с Госиздатом, в состав которого «Всемирная литература» входила как самостоятельная единица, работающая, однако, под его контролем и финансируемая им. Кончилось тем, что в декабре 1924 года она прекратила свое существование навсегда⁹.

Для сотрудников обеих коллегий и для технического персонала это было настоящей драмой. В архиве Крачковского сохранилась записка секретаря издательства В. А. Кюнер-Сутугиной, написанная к концу декабря 1924 года, когда во «Всемирной литературе» была получена бумага от директора Госиздата И. И. Ионова с предписанием сдать все дела заведующему иностранным отделом Ленгиза А. Н. Горлину и передать дом на Моховой, 36, в ведение Госиздата: «Дорогой Игнатий Юлианович... Нам всем так тяжело — что б. помещение "Всемирки" залито буквально слезами — ревут все, и мы — женщины, и Авсейчик, и прочие служащие мужского рода. Старого Назарыча-кассира уже сократили и еще некоторых... Игнатий Юлианович, приходите и не будьте ультрапессимистом — и так тяжело» [А, оп. 2, № 233, л. 59. Ср. дневниковую запись Чуковского: 65, 1990, № 10, с. 165].

О ней, «Всемирке», долго и тепло вспоминали многие, кто был к ней причастен.

«Спасибо за сведения о Вс[емирной] Л[итературе], — писал Крачковскому Г. Л. Лозинский из Парижа. — Я очень ее люблю, и если могу, находясь здесь, быть ей полезным какими-нибудь справками... то я буду рад это делать» [4 июня 1922 г.; А, оп. 3, № 556, л. 2].

И. Ю. Крачковский говорит в книге «Над арабскими рукописями» о том, как во «Всемирной литературе» он «с одинаковой любовью... редактировал перевод связанной с Андалусией философской новеллы Ибн Туфейля... и принимал участие в серьезной работе над переводом испанского романа из эпохи морисков Энрике Ларрета» [28, с. 111].

М. В. Алексеев в 1943 году, читая еще в машинописи первые главы книги Крачковского «Над арабскими рукописями», вспоминает о журнале «Восток», где так хорошо было бы «поместиться» этим миниатюрам [А, оп. 3, № 62, л. 132]. Кстати, оба они неоднократно, хоть и безуспешно, пытались предпринимать шаги по восстановлению этого журнала [69, 1986, № 6, с. 152]. «Подумать только, сколько мы могли с Вами написать в номерах с 6-го по N-й за эти 18 лет? Вот так "ионизация" подействовала на нашу с Вами борзопись!» — писал В. М. Алексеев Крачковскому из эвакуации 9 апреля 1943 года [А, оп. 3, № 62, л. 133]. Вообще, в их переписке тех лет «Восток» фигурирует неоднократно.

Не раз упоминается «Всемирная литература» и ее сотрудники и в послевоенной переписке И. Ю. Крачковского с В. А. Кюнер-Сутугиной [А, оп. 3, №№ 27, 513], а сама Сутугина в далекой севгилейской ссылке шутливо называет свой огородный участок «колхозом имени "Всемирной литературы"» [письмо от 8 июня 1945 г.; А, оп. 3, № 513, л. 26].

О том, как дело, начатое этим издательством, все-таки продолжалось, будет рассказано в следующих главах.



ГЛАВА IX

Шапка Мономаха

«АКАДЕМИЗМ МНЕ ТЯГОСТЕН...»

Получилось так, что к началу 20-х годов Крачковский оказался единственным преемником классической школы петербургской арабистики: Н. А. Медников умер в 1918 году, А. Э. Шмидт в 1920-м переехал в Ташкент и стал работать в Туркестанском университете; даже лектор арабского языка А. Хашаб в 1919 году покинул Петроград. Выбор помощников был ограничен: выпускники предреволюционных лет рассеяны революцией и гражданской войной, следующее поколение только начинало оперяться. Привлечение учеников к работе во «Всемирной литературе» позволяло верно оценить их способности и человеческие качества. Безусловно, отобранные были лучшие, но не со всеми у Крачковского сложились одинаковые отношения. Так, М. А. Салье упоминается в дневнике только в чисто деловом плане. Р. Л. Эрлих вызывает не то раздражение, не то недоумение: она «какая-то недотепистая» [4 окт. 1920 г.; А, оп. 2, № 6, л. 269 об.]; поданная ею работа исполнена «так же бестолково и неряшливо, как она сама» [14 апр. 1920 г.; там же, л. 249]. Да и скоро она отошла в сторону, предпочтя греческую древность арабской и обращаясь к арабским сюжетам лишь эпизодически.

Душа у него явно лежала к Кузьмину и Эберману. Первый с 1920 года уже преподавал в Университете и в Институте живых восточных языков. Он питал особое пристрастие к философским темам, начал даже чтение нового курса по истории арабской философии, с увлечением работал над переводами для «Всемирной литературы» и то и дело забегал к И. Ю. «потолковать о разных материях» [25 марта 1920 г.; там же, л. 245 об.]. Крачковский был доволен его научными и преподавательскими успехами и только сетовал, что «из Кузьмина не выйдет арабиста-литератора» [4 окт. 1920 г.; там же, л. 269 об.]. Но в 1922 году, не дожив и до тридцати лет, Кузьмин умер от заражения крови.

Литератором, и даже более того — поэтом был юный Эберман, окончивший Университет в 1921 году и проявивший свои таланты

в переводе «1001 ночи». Он писал стихи — и всерьез, и в шутку, даже деловые записки порой стилизовал под арабский садж¹.

Эберман был первым, кто чутко (и с блеском!) пробовал воспроизвести в переводе арабской классической поэзии типичную для нее моноримическую структуру и имитировать метрические размеры подлинника (см. его переводы из Ибн Хамдиса [62, № 3, с. 27—30]). В том же номере «Востока», где были напечатаны его опыты поэтического перевода, он дебютировал и статьей «Арабы и персы в русской поэзии», посвященной отражению восточных мотивов в творчестве некоторых русских поэтов, — то есть работой, лежащей явно в русле интересов его учителя. Уже с сентября 1919 года — с III курса — Крачковский начал «приучать его к делу» в Азиатском музее [А, оп. 2, № 6, л. 236 об.]. По окончании Университета в 1921 году Эберман был оставлен при кафедре для подготовки к магистерскому экзамену; одновременно он начал работать в Азиатском музее и в ГАИМК.

Хотя Эберман был явно любимейшим учеником Крачковского, высказывается о нем учитель в дневнике не без обычного своего скепсиса: «Эберман милый мальчик, но никогда не сосредоточится» [4 окт. 1920 г.; там же, л. 269 об.]; «Мальчик, по-видимому, не без таланта. Что-то из него выйдет?» [27 нояб. 1920 г.; л. 271 об.].

К середине 20-х годов семья петроградских арабистов постепенно пополняется новыми выпускниками Университета. Среди них — два талантливых лингвиста: Н. В. Юшманов и Я. С. Виленчик, историк литературы В. И. Беляев, обладавший особым вкусом к изучению рукописей, историк халифата А. Ю. Якубовский, ученик В. В. Бартольда, нумизмат А. А. Быков, этнографы И. Н. Винников и Г. Г. Гульбин. К ним можно причислить и В. А. Крачковскую, делавшую первые шаги на поприще арабской эпиграфики и палеографии.

В это же время к молодым выпускникам присоединяются и двое «палестинцев» — Д. В. Семенов, окончивший Факультет восточных языков еще в 1912 году и до 1918 г. преподававший в Назаретской учительской семинарии, и К. В. Оде-Васильева (Кулсум Оде), одна из тех двух арабских учительниц, с которыми И. Ю. встречался в Назарете; она приехала в Россию накануне первой мировой войны с мужем, фельдшером русской больницы Палестинского общества.

К арабистам примыкала и группа семитологов (занимавшихся в Университете по программе еврейско-арабско-сирийского разряда), в большей степени ученики П. К. Коковцова, который в силу особенностей своего характера к организационной работе был абсолютно неприспособлен. В эту группу, помимо старших его учеников — упоминавшихся выше М. Н. Соколова и А. П. Алявдина, к середине 20-х годов вошли Н. В. Пигулевская, выпускница Бес-тужевских курсов, и универсанты А. П. Рифтин и И. Г. Бендер,

несколькими годами позже — А. Я. Борисов; семитологом-лингвистом был и названный уже И. Н. Винников.

Итак, люди появлялись, их было даже не так мало, но почти ни у кого из них не было научного опыта. Ощущалась настоятельная необходимость объединить их в более или менее сплоченный научный коллектив, и Крачковскому, старшему среди арабистов, никуда было не уйти от этой задачи, особенно трудной в то неустойчивое время. Опыт «Всемирной литературы» показал, что он может быть лидером, однако теперь, не говоря уже о том, что задача сама по себе была более сложной, организаторская деятельность его принимала — против его собственной воли — более широкие масштабы.

Еще в начале июля 1921 года, то есть в самый расцвет «Всемирной» и до ареста, в жизни Крачковского произошло важное и совершенно неожиданное для него событие: ему было предложено баллотироваться в действительные члены Академии на место умершего в августе 1920 года Б. А. Тураева. Желая получить согласие И. Ю., к нему на квартиру (он был нездоров) явился сам Непременный секретарь С. Ф. Ольденбург. Крачковский, услышав это предложение, по его собственному выражению, «совсем обалдел» [6 июля 1921 г.; А, оп. 2, № 6, л. 288 об.] и начал отказываться, искренне уверяя Ольденбурга в своей непригодности для столь высокого звания. Кстати, Вера Александровна, с которой С. Ф. Ольденбург имел предварительный разговор, предсказывала именно такую реакцию мужа.

Однако Непременный секретарь сумел-таки переубедить Крачковского. Он объяснил, что ему нужна будет помощь, а в Отделении исторических наук и филологии как раз вводится новая должность академика-секретаря, для которой Игнатий Юлианович — самая подходящая кандидатура.

Неужели история повторяется — в который раз такие качества Крачковского, как надежность, аккуратность, добросовестность и порядочность, заставляют старших товарищей и коллег остановить на нем выбор в ответственный момент? Или сочли его «раком на безрыбье»?

Конечно, нет. Старшим коллегам было совершенно ясно, что Крачковский во всех отношениях вполне оправдал возлагавшиеся на него факультетом надежды, о которых тринадцать лет назад писал ему Н. Я. Марр. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть «Записку об ученых трудах профессора Петроградского университета Игнатия Юлиановича Крачковского», составленную В. В. Бартольд, Н. Я. Марром и С. Ф. Ольденбургом [11а].

Каждый из этих так непохожих друг на друга ученых оценивал вклад Крачковского в науку с точки зрения своего круга проблем и каждый высвечивал новую грань его, как выразился Бартольд, «первоклассного дарования».

В. В. Бартольда интересовали в первую очередь историко-литературные концепции нового кандидата в академики. Он отмечал, что Крачковский, продолжая традиции своих учителей, в первую очередь В. Р. Розена, и опираясь, с одной стороны, на новейшее направление в исследовании арабской поэзии, созданное венской школой, с другой — на методологию А. Н. Веселовского, открыл своими работами «новую эру в русской науке» [11а, с. 21], подходит к поэтическим произведениям с историко-культурной точки зрения, а при исследовании христианско-арабских памятников — выдвигая на первое место вопрос о взаимовлиянии литератур христианского Востока и «об отношении между христианскими и мусульманскими культурными течениями» [с. 20]. Очень высоко оценивая очерк арабской литературы, написанный для сборника «Всемирной литературы», В. В. Бартольд подчеркивал независимость взглядов Крачковского «от традиционных схем и формул» [там же].

Н. Я. Марр останавливался прежде всего на трудах Крачковского по христианско-арабской литературе, считая, что они «ставят его и количественно и качественно в первые ряды работающих в этой области арабистики» [с. 21]. Отметив его роль в изучении и публикации новых памятников с безупречной научной акрибией, Марр затем, на первый взгляд несколько неожиданно, сближает эту линию трудов Крачковского с его исследованиями в области новоарабской литературы, в частности современной литературы арабских христиан сиро-американской школы. «Интерес к христианскому Востоку, — пишет Марр, — он углубил так, как ни один из работников по христианско-арабской литературе, но углубление это шло в ту сторону, которая уходит обыкновенно из кругозора специалистов европейских, именно в сторону новой арабской культурной жизни, понять которую без учета христианско-арабских писателей нет возможности» [с. 22]. Указывает он и на хорошо известную способность Крачковского «быть неисчерпаемо обязательным в предоставлении своих знаний тем, которые в том нуждаются» [с. 22].

С. Ф. Ольденбург дает общую характеристику всех основных направлений исследовательской работы Крачковского, выделяя особо его интерес к поэтике и риторике (соответствующие главы магистерской диссертации и не опубликованное тогда еще исследование об Ибн аль-Мутаззе); в этой области, по его оценке, Крачковский не имеет предшественников в русской арабистике. Ольденбург отмечает также заслугу Крачковского в изучении рукописей отечественных коллекций и его живой отклик на чужие работы, умение «найти ценное и в плохих трудах» [с. 23]; его рецензии нередко являют собой маленькие специальные исследования.

Окончательное заключение было дано блестящее: «Подводя итог краткому обзору работ И. Ю. Крачковского, особенно в об-

ласти арабской поэзии и истории средневековой литературы вообще, мы вправе отметить, что он занял здесь определенное видное место, внося много нового и самостоятельного в сравнительно мало еще исследованную область, и является достойным преемником своего незабвенного учителя В. Р. Розена» [с. 27].

Этот отзыв, в котором прослежены основные линии научных интересов Крачковского (несколько в стороне оказалась разве что история арабистики) и манера его работы, а также по достоинству оценены его достижения в востоковедении, я полагаю, в особых комментариях не нуждается. Следует привести только еще одно возможное соображение. Выдвигая в академики востоковеда сравнительно молодого, пусть ярко проявившего себя, но ведь всего шесть лет как защитившего магистерскую диссертацию и только что получившего профессорское звание, его старшие товарищи могли думать и о необходимости пополнить Академию людьми подлинно интеллигентными, учеными старого закала, не смешивающими науку с политикой.

Да, конечно, Академия сразу откликнулась на предложение советской власти о сотрудничестве (можно ли предавать науку ради политических амбиций?)², да, Ольденбург встречался с Лениным и как будто верил ему, — но не было ли у них, руководителей Академии, тайного, может быть не до конца осознанного еще страха перед возможной, в ходе перемен, профанацией академической науки? Совсем недалекое будущее покажет справедливость их опасений, если эти опасения были.

Далее ситуация с выборами Крачковского развивалась так: 21 сентября на заседании Отделения исторических наук и филологии он прошел единогласно; 9 ноября на общем собрании Академии подавляющим числом голосов (лишь два против) тридцативосьмилетний Крачковский был избран в действительные члены Российской Академии наук.

Кажется, столь лестный отзыв, да и вообще сам факт выбора в академики должны были смягчить привычное недовольство собой. Но в то же время это заставляло Крачковского особенно ощутить всю тяжесть почетного груза, возложенного на его плечи. Это смешанное чувство гордости и бесконечной ответственности звучит в его речи, произнесенной на первом заседании после избрания. Набросок ее сохранился в архиве Игнатия Юлиановича, приведу его здесь полностью:

«Свою благодарность за великую, величайшую для ученого честь я не могу выразить словами и меня извинят.

Моя первая мысль, которой я и не скрыл перед Сергеем Федоровичем, когда он дал мне первое сообщение, была та, что эта честь оказывается мне — так сказать — в кредит не за то, что я сделал, а за то, что я может быть сделаю. И это чувство неоплаченного долга меня не страшит теперь: если до этого у меня могли быть колебания и в личной жизни, и в науке, сомнения в правиль-

ности избранного пути, то теперь этих сомнений больше нет. Высокая честь является настолько сильной моральной поддержкой, что теперь у меня единственная мысль, единственное моление к высшей силе, чтобы всей работой, всей жизнью оказаться достойным имени своих главных учителей, тени которых витают здесь — В. Р. Розена и Б. А. Тураева, достойным имени находящегося здесь В. В. Бартольда, непосредственным учеником которого я с гордостью себя считал и буду считать до конца дней» [А, оп. 2, № 140, л. 1].

Действительно, «самоедских» пассажей в дневнике мы больше не увидим, но и тщеславного самолюбования не появится. Скептические отзывы о собственных трудах встречаются по-прежнему.

«14 мая (1922 г.). Кончил рецензию на Бартольда, которая вышла какой-то неприятной местами по тону и тягучей в смысле подробностей. Когда перепису, буду просить всех перечитать, начиная с Ольденбурга и младших» [А, оп. 2, № 6, л. 304].

«5 июня... Много разговоров все о моей рецензии на Бартольда; не знаю, что с ней придется делать» [л. 304 об.]³.

«7 августа (1929 г.). Эти дни пытался строчить "статью" для Арабской Академии, вышло что-то нудное» [там же, л. 332].

Да и «важности» академической как будто не появилось. Скорее даже — несколько юмористическое отношение к академическому ритуалу: «Был сегодня на первом заседании Отделения в Академии наук. От прежней торжественности, конечно, одни остатки, но в общем — забавно» [16 нояб. 1921 г.; там же, л. 297]. И некоторое раздражение от необходимости соблюдать традиционный этикет: «К моему ужасу узнал у Ольденбурга, что избранному подобает делать визиты академикам всех отделений. Сегодня ради праздника приступил. По счастью никого почти дома не застал и забрасывал только карточки» [13 нояб. 1921 г.; там же, л. 296 об.].

Друзья-востоковеды приняли весть об избрании Игнатия Юлиановича с большим энтузиазмом. В его архиве сохранились шуточные стихи китаистов, посвященные этому событию, — В. М. Алексеева, Ю. К. Щуцкого, даже целая поэма «Синдбад» Б. А. Васильева. 17 декабря 1921 года он записывает в дневнике: «Все это время проходит как-то бестолково со всякими празднествами и чествованиями, которые все считают нужным устраивать по поводу моего избрания. Великое торжество было в Азиатском музее 1 декабря в присутствии большинства ориенталистов, званы были к Алексею, Эберману и Кузьмину на всякие обеды и вечера. В общем все это стало даже нудно» [там же, л. 297].

В первый момент, когда читаешь эти строки, становится как-то обидно за коллег Крачковского, искренне радовавшихся его успеху. А потом понимаешь, что это все то же обостренное чувство долга, все та же почти маниакальная страсть к **настоящей работе**, когда раздражает любая мелочь, мешающая ей. Как не вспомнить

чеховского Тригорина, то есть, по сути, самого Чехова: «День и ночь одолевает меня одна неотвязная мысль: я должен писать, я должен писать, я должен... И так всегда, всегда, и нет мне покоя от самого себя...» [51, т. 11, с. 166].

Поэтому и избрание в Академию радости не принесло, оно только усиливало внутреннее беспокойство, которое внушало ему ощущение неотвратимости своего лидерства: «Академизм мне тягостен не столько работой, сколько сознанием того, что он к чему-то обязывает и надо что-то делать» [6 янв. 1922 г.; А, оп. 2, № 6, л. 298].

При таком постоянном внутреннем напряжении не до праздников ему было. И когда веселье начинало переклестывать через отводимые ему внутренним убеждением границы, Крачковский решительно отвергал его. Так, «раут» во «Всемирной литературе» 9 января 1922 года он попросту игнорирует [там же, л. 298 об.]. А там, вероятно, читались остроумные отрывки из «Ежегодника» и первая часть замятинской «Истории Всемирной литературы». Даже знаменитые литературно-музыкальные вечера востоковедов — «Малак»⁴ — не вызывали у него энтузиазма, и активного участия он в них не принимал, только присутствовал в качестве зрителя.

Значило ли это, что Крачковский вообще был лишен чувства юмора? Вряд ли. У него ведь и в дневнике немало шуточных записей (причем — ироничных по отношению к самому себе), да и многие юмористические материалы и «Малак», и «Всемирной литературы», шуточные стихи и записки Эбермана и китаистов он бережно хранил (хоть это, наверное, впоследствии стало небезопасным) и с такой теплотой и грустью вспоминал «легенду», сочиненную Б. А. Васильевым в начале 20-х годов [см.: 28, с. 65]. Пожалуй, здесь нужно говорить не столько об отсутствии чувства юмора, сколько о своеобразном совершенно искреннем духовном аскетизме «невольника долга».

Еще тяжелее стало весной, когда Крачковский был избран академиком-секретарем Отделения исторических наук и филологии, преобразованного впоследствии в Отделение гуманитарных наук. В. А. Крачковская вспоминает об этом так: «26 апреля 1922 г. И. Ю. был избран единогласно Академиком-секретарем Отделения исторических наук и филологии. У него появились новые обязанности. Он приходил не менее двух раз в неделю на определенные часы в кабинет Президента, принимал доклады заведующего канцелярией, посетителей, подписывал текущие бумаги. Его стол стоял у левого большого окна на набережную, ближайшего к вестибюлю. Очень часто он заменял то одного, то другого члена Президиума, а то и нескольких, даже всех отсутствующих из Ленинграда по делам. В канцелярии служащие спрашивали друг друга: "Кто сегодня подписывает? СОль или ИКра?"» [А, оп. 7, № 26, л. 110].

Действительно, архивные папки того времени полны официальных бланков с обращениями С. Ф. Ольденбурга к И. Ю. Крачковскому — заменить его то в должности Непременного секретаря, то директора Азиатского музея (даже в момент переезда в новое здание) или временно принять на себя обязанности директора Музея антропологии и этнографии, даже вице-президента Академии. Документы свидетельствуют и об участии Крачковского в работе бесконечных комиссий: Издательской комиссии, Комиссии по организации Международного съезда историков искусства, Комиссии по срочному пересмотру всех академических изданий, хранящихся в кладовой книгохранилища, Юбилейной комиссии для выработки программы торжества по случаю пятидесятилетия Ленинградского общества археологов, Особой комиссии для рассмотрения вопроса о подготовке научных работников по гуманитарным дисциплинам, Комиссии по передаче в Эрмитаж некоторых принадлежащих Академии материалов из Восточного Туркестана, Предварительной комиссии по подготовке и проведению юбилейных торжеств в РАН (подкомиссии для обсуждения вопросов украшения Большого и Малого конференц-залов и вестибюля), Комиссии по реорганизации типографии АН... Это всего лишь несколько выбранных неудач названий комиссий, действовавших в 1924—1925 годах. Надо ли говорить, что для Крачковского, согласно его обычаю, все это не пустые названия, не синекеры?

Конечно, тогда не он один оказывался таким «многостаночником», еще больше постов приходилось занимать его старшим коллегам — С. Ф. Ольденбургу, Н. Я. Марру, даже В. В. Бартольду, но уж очень много он по своей привычке вкладывал во все поручения времени и сил, да вдобавок очень был к этому не приспособлен душевно, чуждо все это ему было.

В дневнике чуть ли не на каждой странице появляются короткие заметки типа: «Завертелся уже (после приезда из командировки в Симферополь. — А. Д.) в здешней сутолоке» [21 июня 1924 г.; А, оп. 2, № 6, л. 310 об.]; «...со всей возней по Академии у меня опять работа пошла бестолково, а сверх того нервы до безобразия развинтились» [24 авг. 1924 г.; там же, л. 311 об.]; «Мало времени все эти дни с бесконечными отъездами Ольденбурга в Москву» [22 янв. 1926 г.; там же, л. 318 об.]; «Со всякой академической суетой два месяца прошли почти без всякой путной работы» [12 июня 1928 г.; там же, л. 325]. Сетует он на «хлопотливые и неприятные» [А, оп. 3, № 37, л. 56] академические дела и в откровенных письмах к симферопольскому востоковеду Виктору Иосифовичу Филоненко, старому другу по студенческому общежитию — коллегии Александра III.

Чем дальше, тем тягостнее становились для Крачковского эти обязанности, особенно потому, что положение Академии заметно изменилось — и не в лучшую сторону.

По отношению к ученым советское правительство вело политику кнута и пряника: Комиссия по улучшению быта ученых (КУБУЧ) старалась подкормить, облегчить бытовые условия, предоставляла квартиры, санатории и т. п., а Наркомпрос тем временем систематически вытравлял «чистую науку» из высших учебных заведений, занижал требования к контингенту учащихся. Дважды за короткий срок (в 1923 и 1927 гг.) пересматривался устав Академии, которая при этом все больше оказывалась в зависимости от коммунистических верхов. Так, по уставу 1927 года Академия обязана была ежегодно отчитываться перед СНК; из ее задач исчез пункт о «попечении о распространении просвещения вообще и о направлении оного ко благу общему» [48, с. 92], зато большую определенность обрел следующий пункт — о связи науки с практикой: «...приспосабливать научные теории и результаты научных опытов и наблюдений к практическому применению в промышленности и культурно-экономическом строительстве в СССР» [48, с. 120]. Право выдвижения кандидатов в Академию наук теперь получали «ученые учреждения, общественные организации, отдельные ученые и их группы» [48, с. 122]; предусматривалась и возможность утери членом АН своего звания, «если он не выполняет обязанностей, налагаемых на него этим званием, или если его деятельность направлена явным образом во вред Союзу ССР» [48, с. 123]. А всяческие реорганизации отдельных звеньев Академии работе помогали не более, чем перемены мест музыкантов в знаменитой крыловской басне, а порой и явно вредили.

Рубеж 1928—1929 годов в истории Академии наук считается поворотным и долгое время оценивался со знаком плюс. Так, например, во «Введении» к книге «Азиатский музей — Ленинградское отделение Института востоковедения АН СССР» говорится: «1929 год был переломным в истории АН, "исключительной эпохой", как назвал его акад. В. Л. Комаров в отчетном докладе: АН получила новый устав, пополнила свой состав, в АН были избраны академики-марксисты, была проведена проверка аппарата и деятельности АН, что дало возможность освободиться от некоторой доли того наследия царского строя, которое связывало АН в развитии ее творческой деятельности» [7, с. 44]. В действительности же рубеж 1928—1929 годов явился новым важным этапом наступления властей на отечественную науку.

С весны 1928 года Академия стала готовиться к выборам. 31 марта управляющий делами СНК Н. П. Горбунов встретился с С. Ф. Ольденбургом и открыто заявил ему: «Москва желает видеть избранными Бухарина, Покровского, Рязанова, Кржижановского, Баха, Деборина и других коммунистов» [цит. по: 74, 1991, № 4, с. 97].

Узнал ли Крачковский сразу об этом требовании властей — трудно сказать. Но так или иначе, устав 1927 г. не сулил ничего хорошего, не говоря уже о том, что на Крачковского как на акаде-

мика-секретаря отделения ложились определенные организационные обязанности, которые в складывающейся вокруг выборов обстановке были ему особенно неприятны. «С выборами у нас предстоит канитель еще на полгода, — писал он В. И. Филоненко 10 мая, — и неприятностей будет немало. Вероятно, это начало того же развала, до которого докатились университеты и прочие учреждения» [А, оп. 3, № 37, л. 111].

В это время газета «Известия» обратилась ко многим ученым с предложением высказаться о новом уставе, предстоящих выборах и о ближайших задачах Академии. Их ответы печатались в течение мая почти в каждом номере газеты.

Тон «дискуссии» задал А. Я. Вышинский, выступивший одним из первых. Он провозгласил ведущую роль диалектического материализма в разработке любых научных проблем и призвал ставить во главу угла при оценке деятельности ученых «общественно-философский облик» каждого из них. Основная мысль статьи сводилась к следующему: работа АН должна быть увязана «с грандиозными задачами социалистического строительства»; на ее членов ложится ответственность «перед пролетарским государством».

В этом ключе высказывались и большинство ученых, чьи отклики печатались на страницах «Известий», в номере за 18 мая над ними даже «шапка» была: «Новые выборы должны приблизить Академию Наук к запросам социалистического строительства». Лишь немногие, как, например, Н. И. Вавилов, проявляли в своих выступлениях больше озабоченности повышением **научного** уровня исследований.

Ответил «Известиям» и И. Ю. Крачковский. Но его ответ напечатан не был, ибо он явно не гармонировал с победными маршами.

«В истории науки, — писал он, — бывают периоды, когда занятия отдельными областями ее вызывают непонимание не только со стороны широких масс, но даже и людей, несколько причастных к науке». Далее он объяснял, что эпохи одностороннего увлечения техникой и прикладными науками в истории повторяются периодически, и положение гуманитарных наук, «изучающих человека в тех проявлениях, которые отличают его от животных, становится в такую эпоху безнадежным: занятие ими, поскольку они не дают непосредственных результатов, нужных государству в известном направлении, считается в лучшем случае пустой забавой праздного ума, в худшем — делом вредным и предосудительным». Задача Академии, по его мнению, в первую очередь состоит как раз в том, чтобы поддержать непопулярные теоретические области знания, «которые так же необходимы в едином величественном здании науки, как и другие, но встречаются непонимание и вражду».

Его слова, написанные более шестидесяти лет назад, тогда оказались гласом вопиющего в пустыне, а теперь звучат как пророче-

ские: «Наука вечна; смена увлечений известными областями и направлениями не должна отзываться губительно на других областях, отмирание которых через некоторые промежутки времени скажется катастрофически на всем организме. Я назвал случайно несколько таких областей; список их можно было бы сильно увеличить. Занятие техническими или специально-экономическими науками в определенном направлении встречает поддержку правительства и является патентом на благонадежность, ими занят ряд учреждений или организаций и помимо Академии Наук. Между тем есть области, которые при малой культурности страны нигде не находят себе опоры; дело Академии Наук сохранить и развить их, так как для общей экономики государства они не менее важны, чем и другие, если страна не хочет оказаться на задворках общечеловеческой культуры и питаться в будущем подачками своих западных соседей» [датировано 19 мая 1928 г.; А, оп. 2, № 153, лл. 2—4].

Между тем подготовка к академическим выборам шла полным ходом. В письмах Крачковского к Филоненко можно найти относящиеся к этому времени упоминания об «академической возне», мешающей работать [11 июня 1928 г.; А, оп. 3, № 37, л. 113] и о грядущем заседании восточной выборной комиссии с участием представителей союзных республик, на котором ему придется председательствовать, ибо «Ольденбург почувствовал, что дело серьезное, и, как это с ним иногда бывает в сложных случаях», переложил эту миссию на своего помощника [13 окт. 1928 г.; там же, л. 118 об.].

Выборы были намечены на декабрь 1928 года. К сожалению, письма Крачковского к Филоненко, написанные между 29 ноября 1928 г. и 12 мая 1929 г., не сохранились, а по имеющимся ответам Филоненко неясно, писал ли ему что-нибудь в это время Крачковский о выборах в Академию.

История же разворачивалась следующим образом. Были созданы — на уровне Политбюро ЦК и Ленинградского обкома — специальные комиссии, направляющие и координирующие подготовку к выборам, чтобы обеспечить проталкивание в Академию партийно-правительственных кандидатов [74, 1990, № 4, с. 97]. Борьба между наукой и политикой шла жестокая, при этом далеко не все академики понимали опасность положения. И. Ю. Крачковский в этой ситуации занял непримиримую позицию, не желая поступать своими убеждениями. Жена С. Ф. Ольденбурга, Е. Г. Ольденбург, записывает в дневнике 7 октября 1928 года: «Сергей пришел от Крачковского с 1-го заседания их восточной комиссии по выборам. Был Марр, Крачк., Бузескул, Бартольд и Сергей... Все трое: Крачковский, Бузескул и Бартольд, как один человек, твердят, что правительство не посмеет, что не надо сдавать, что надо себя показать» [Архив РАН, ф. 208, оп. 2, № 61, л. 359].

В начале декабря до сведения академиков Отделения гуманитарных наук через С. Ф. Ольденбурга был доведен «правительственный ультиматум»: если на выборах не пройдет хотя один из поддерживаемых Москвой двенадцати кандидатов-коммунистов, выдвинутых, согласно уставу 1927 года, различными учреждениями и вузами⁶, то из Академии немедленно будут уволены четыре члена отделения. Назывались имена: Соболевский, Никольский, Лавров и Жебелев; в другом варианте: Соболевский, Истрин, Лавров и Ляпунов. И академики, боясь подставить под удар своих товарищей, подчинились. После нескольких неофициальных совещаний они решили «отказаться от независимого избрания кандидатов, и в виде некоторого намека на то, что выборы прошли под давлением правительственной власти, готовой употребить насилие над отдельными академиками в случае неудачных выборов правительственных кандидатов, единогласно согласиться, без обсуждения научных достоинств кандидатов, положить избирательные шары решительно всем избираемым, включая двенадцать правительственных кандидатов»⁷.

Добиться единого решения было нелегко. Даже накануне выборов в Отделении гуманитарных наук С. Ф. Ольденбург не был еще полностью уверен, что все обойдется. Об этом свидетельствует запись в дневнике Е. Г. Ольденбург от 11 декабря: «Настроение все еще тревожное, неопределенное. Можно думать, что академики будут голосовать против, и тогда все кончено. Бартольд и Крачковский против, потому что они открыто и честно говорят, что это против их убеждения» [Архив РАН, ф. 208, оп. 2, № 57, л. 68].

И все-таки в последний момент, очевидно во время совещания академиков у него на квартире вечером 11 декабря, С. Ф. Ольденбургу удалось переубедить несогласных. (В дневнике Е. Г. Ольденбург читаем: «Очень радуется [Сергея] Ф[едоровича] И. Ю. Крачковский своей выдержкой и стойкостью: раз он голосовал и в Комиссии, и в Отделении, так он будет вести себя и далее, себе не изменит, хотя в душе он, может быть, против, но раз обещал что-либо, то так и будет поступать, на него можно надеяться» [запись от 22 янв. 1929 г.; Архив РАН, ф. 208, оп. 2, № 50].) Все, казалось, пошло по намеченному верхами сценарию: 12 декабря Отделение гуманитарных наук поддержало указанных ему кандидатов, но неожиданно на общем собрании 12 января 1929 года трое из них — Деборин, Лукин и Фриче — не набрали необходимых двух третей голосов, вероятно — за счет ни о чем не предупрежденного физико-математического отделения. Это говорит не столько о том, что «физики» оказались смелее «гуманитариев», сколько о том, что угроза увольнения висела не над ними. Президиум (очевидно, не желая обострять ситуацию) постановил снова предложить непрошедшие кандидатуры Общему собранию, созванному уже в **новом** составе, не повторяя всей процедуры выборов в отделение⁸. Девять человек (в том числе трое из новоиз-

бренных гуманитариев — Владимирцов, Петрушевский, Сакулин) были против нарушения установленного порядка выборов. Особенно резко критиковал это предложение акад. И. П. Павлов: раз забаллотировали, значит, они того и заслуживают, не в первый раз такое случается.

Скандал все-таки разразился. Центральная печать регулярно публиковала материалы, связанные с инцидентом на выборах; различные учреждения, имеющие отношение к науке, клеймили «реакционных академиков», которые, кладя партийным кандидатам черные шары, «совершали сознательный политический акт», стремясь «в ущерб науке провалить кандидатуры указанных ученых только потому, что они марксисты, коммунисты, революционеры в науке, непримиримые враги всякого мракобесия в науке, идеализма, поповщины, консерватизма. АН перед лицом всего Советского Союза демонстрирует, что еще глубоко гнездятся в ней реакционные тенденции дореволюционного периода, когда она, верная указке царского правительства и побуждаемая собственной кастовой ограниченностью, не допускала в свою среду революционеров мысли». Такими жутковатыми демагогическими фразами пестрела резолюция собрания РАНИОН (Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук), напечатанная в «Известиях» 3 февраля 1929 г. (с. 3).

В конце января в нескольких центральных и местных партийных газетах была напечатана статья Ю. Ларина «Академики и политика». Автор в весьма развязном тоне утверждал: те, кто был выбран в состав Академии до революции, — это ее реакционное ядро, которое, «как оказывается, проявило себя перед революцией идейными защитниками царизма и идейными реакционерами», некоторые из них «были прямо замешаны в контрреволюционных заговорах и выступлениях». Мало того, это реакционное ядро «создается не крупными учеными с мировым именем... а реакционной посредственностью, без которой Академия вполне может обойтись». Советская власть виновата, что в свое время не отнеслась внимательно к составу академиков [67, № 20, с. 2].

5 февраля в «Известиях» появилась статья А. В. Луначарского «"Неувязка" в Академии Наук», полная грубых попреков (мол, сколько советское правительство заботится об Академии и ученых!) и угроз: «Академия должна была твердо понимать, что советская общественность, что революция ставят ей определенные условия... Что же думала Академия — что у коммунистической партии, что у советской власти и нашей общественности не хватит духа отвергнуть Академию и ее вещественные богатства передать иначе организованному научному миру?.. Ну, если академики думали так, то они шутили с огнем и, боюсь, очень сильно обожгутся».

Академики растерялись. Они не привыкли к разнузданным политическим обвинениям и грубым окрикам, но в то же время пони-

мали, что угрозы новой власти — не шутка. Можем ли мы судить их за то, что они тогда пошли у нее на поводу? Или просто махнули рукой на политику — не мешайте работать!

Так или иначе, 6 февраля Совнарком удовлетворил ходатайство президиума о повторном голосовании в Общем собрании — и все трое «революционеров мысли» теперь были избраны.

Но для того чтобы уж окончательно поставить Академию на колени, нужно было, чтобы каждый ученый лично признал ошибки и выразил свое согласие с правительственной политикой. Поэтому «Известия» обратились ко многим видным ученым с предложением высказаться по поводу статьи Ю. Ларина, которая, кроме грубых политических обвинений и угроз, содержала новый проект регулирования состава Академии: отменить пожизненность выборов и пересматривать состав Академии каждые 10 лет; привлекать к выборам в Академию всех ученых страны; привлечь пролетарскую общественность к контролю над работами Академии.

В феврале—марте 1929 года «Известия» систематически публиковали ответы на свой запрос. Надо отдать справедливость ученым — далеко не все безоговорочно согласились с идеей Ларина, хотя кое-кто угодливо предлагал пересматривать состав Академии даже не каждые 10, а каждые 5 лет (как, например, только что избранный в АН математик И. М. Виноградов). Некоторые признавали «отрыв Академии от масс», но тем не менее большинство выражали сомнение по поводу реальной возможности — и необходимости — привлечения к выборам «всех ученых страны». Вопрос о «контроле пролетарской общественности» все как один проигнорировали. Ряд весьма уважаемых ученых (Истрин, Фаворский, Глазенап, Крылов и др.) не согласились и с первым тезисом Ларина — об отмене пожизненности выборов.

Отклик И. Ю. Крачковского на эту статью, датированный 1 февраля 1929, опять-таки напечатан не был, но в архиве текст его сохранился. Ответ конкретен, лаконичен, полон достоинства и, мне кажется, даже сдерживаемой брезгливости по отношению к автору статьи. Привожу его полностью.

«В связи со статьей т. Ларина в ответ на обращенный ко мне запрос считаю нужным ответить следующее:

1. Научная деятельность академиков проходит на глазах всего ученого мира как у нас в Союзе, так и за границей. Материалом для суждения о ней могут служить годовые обзоры, печатаемые ежегодно в Отчете Академии, доступном всем. Едва ли при таких условиях возможно создание каких-либо форм "проверки", которое соответствовало бы достоинству науки и ученых. За время моего восьмилетнего пребывания в Академии не знаю ни одного случая, когда бы академик прекратил свою научную работу, и таким образом основной довод т. Ларина отпадет».

2. Избрание академиков считаю желательным при участии всех специалистов, заявивших о себе трудами в соответствующей обла-

сти. Участие организаций (безразлично — научных или профессиональных) мало целесообразно, так как часто их решение основывается на соображениях случайного порядка» [А, оп. 2, № 153, л. 6].

Общее собрание Академии, на котором происходило переоголошение, состоялось 13 февраля 1929 года. На ближайшем же после этого заседании ОГН, 20 февраля, Крачковский заявил о своем желании покинуть пост академика-секретаря. В протоколе заседания его заявление отражено следующим образом:

«Академик-секретарь доложил о желательности назначения кандидата на должность Академика-Секретаря ОГН, так как увеличение состава академиков почти вдвое делает необходимым избрание нового Академика-Секретаря ОГН до истечения срока его полномочий.

Положено принять к сведению и наметить кандидатов в следующем заседании Отделения» [1, ф. 1, оп. 1—1929, № 253, л. 9 об.].

Это был, несомненно, слегка лишь завуалированный протест против того униженного положения, в котором оказалась Академия, и нежелание участвовать, хотя бы пассивно, в дальнейших беззакониях⁹. Полагаю, что коллеги поняли его достаточно хорошо¹⁰. Впрочем, на следующем заседании, 6 марта, некоторые из них просили Крачковского вновь баллотироваться на должность, от чего он отказался наотрез.

Следующим этапом «реорганизации» Академии явилось реальное осуществление угроз, рассыпанных в коммунистических статьях периода скандальных выборов, — так называемая «чистка» ее состава. «Чистка» началась в июне и сначала касалась только аппаратных работников. Во главе комиссии по «чистке» стоял член коллегии РКИ Ю. П. Фигантер; под видом представителей РКИ в нее входили два сотрудника ГПУ [подробнее см. 74, с. 98—99].

16 сентября Крачковский пишет Филоненко: «В Академии, конечно, мамаево побоище и посему настроение соответствующее» [А, оп. 3, № 37, л. 132 об.].

Мероприятия по искоренению «академического духа» чем дальше, тем становились жестче: «В Академии у нас второй приступ чистки, на этот раз в очень неприятной форме с массовыми обысками, арестами и т. д. Не обойдется вероятно и без показательного судебного процесса» [письмо от 26 окт. 1929 г.; там же, л. 135 об.].

Это начиналось так называемое «дело академиков», обвиненных в монархическом заговоре. По нему были арестованы С. Ф. Платонов, Н. П. Лихачев, Е. В. Тарле, М. И. Любавский, высланы в разные города на сроки от трех до пяти лет и, несмотря на протесты президента Академии Карпинского, исключены из состава действительных членов. Ольденбург, обвиненный в «круп-

ных упущениях», по телеграмме председателя Совнаркома Рыкова был снят с поста Непременного секретаря.

Одновременно с «чисткой» велась подготовка к принятию нового устава Академии, проект которого был разработан вице-президентом А. Е. Ферсманом. Очевидно, некие установки были получены им «сверху», и новая организация Академии, предлагаемая в этом проекте, преследовала цели, с одной стороны, разобщения старого ядра академиков (не всех же разгонять и судить!), с другой — создания больших возможностей для обращения академических учреждений к решению чисто практических задач и для более удобного контроля за ними.

Вот как реагировал Крачковский на предложенный проект: «Записка в части, касающейся самой Академии, исходит из необходимости перенести центр работы из Отделений в специальные группы "в виду неоднородности и взаимной незаинтересованности в работе членов Отделений" (с. 2). Трудно сказать при этом доводе, насколько можно отстаивать положение прешествующей страницы, что "Академия представляет науку в целом, соединяя в одном коллективе специалистов по разным областям"»¹¹.

Я не знаю, насколько нормальное развитие специализации в научных областях в данный момент требует дробления Отделений на более мелкие группы¹². Для меня лично роль Отделений представляется далеко не отжившей и политика Президиума, уже и теперь искусственно парализовавшая их деятельность, неправильной. Во всяком случае, эта политика лишила академиков за последнее время очень важного орудия не только научного, но и личного общения, равно как единственной иногда возможности информации обо всем, происходящем в Академии» [А, оп. 2, № 143, л. 53]. В этой записке он высказывает еще ряд конкретных возражений по поводу усложнения структуры Академии, недостаточной частоты предусматриваемых рабочих заседаний и т. п., а также предостерегает президиум от излишней поспешности в принятии окончательных решений: «Месячный срок для выработки новой структуры мне кажется нереальным: действующий устав выработывался более двух лет и то оказался при проведении на практике требующим целого ряда коррективов; тем более опасно производить спешную реорганизацию теперь, когда нужна сугубая осторожность при значительно усложнившихся условиях» [там же, л. 54].

Устав был принят Общим собранием Академии 4 апреля 1930 года. «Месячный срок» растянулся до пяти месяцев — но и этого было мало, через пять лет потребовался новый устав, который еще прочнее привязывал академическую науку к сиюминутным практическим потребностям «строительства нового бесклассового общества» [48, с. 142].

Академия все больше превращалась в место службы, а не служения как естественного состояния ученого.

ЖИВ КУРИЛКА!

Можно ли представить, чтобы Университет после революции остался в своем старом качестве, не затронутый переменами? Нет, конечно.

О попытках перестройки высшей школы после Октябрьской революции, с которыми было связано «немало исканий, опытов и экспериментов, удачных и неудачных» [34, с. 84], написано достаточно, и здесь нет нужды углубляться в перипетии этой истории.

Преобразования в Университете начались еще раньше академических и шли в аналогичном направлении: с одной стороны, поворот к практическому образованию, к изучению современности, изменение социального контингента учащихся (создание кадров новой интеллигенции, преданной задачам советского государства), с другой — насыщение преподавания марксистской идеологией, что неизбежно влекло за собой размывание границ между отдельными отраслями науки, особенно гуманитарными. Эти тенденции нашли свое отражение и в идее реорганизации Петроградского университета.

Уже в январе 1919 года среди преподавателей распространилось известие о намерении советского правительства слить три гуманитарных факультета (историко-филологический, восточных языков и юридический) в один Факультет общественных наук [дневниковая запись от 15 янв. 1919 г.; А, оп. 2, № 6, л. 210 об.]. В апреле Н. Я. Марр и декан историко-филологического факультета С. А. Жебелев подали в правительство записку, в которой предлагали организовать на основе руководимых ими факультетов историко-культурное отделение ФОН, состоящее в свою очередь из трех отделов: этнолого-лингвистического, историко-филологического и философско-психологического. Эта акция, по их утверждению, должна была влить «свежую струю новых материалов, новых мыслей и научных подходов в существующую историко-филологическую науку» и поднять уровень «методологии и исследовательских технических приемов молодого востоковедения» [цит. по: 19, с. 17].

17 августа 1919 года было опубликовано постановление Наркомпроса об организации ФОН I Петроградского университета на базе историко-филологического, юридического и факультета восточных языков Петроградского университета, Историко-филологического института, Археологического института и гуманитарных факультетов Бестужевских курсов. ФОН состоял из шести отделений: политико-юридическое, социально-экономическое, философское, историческое, филологическое, этнолого-лингвистическое — и 98 кафедр.

Мало того, что факультет получился чересчур громоздким — востоковедение перестало быть единым комплексом наук, оно рас-

средоточилось по четырем отделениям: этнолого-лингвистическому, филологическому, историческому и философскому.

Сразу пошли разговоры о новых переменах. «В общем, впечатление такое, что Наркомпрос еще не знает толком, как с нами и быть», — писал Крачковский в дневнике 7 июля 1920 года [А, оп. 2, № 6, л. 215].

Крачковский, судя по дневниковым записям, был резко настроен против всяческих лихорадящих Университет реорганизаций; претили ему и многословные, часто пустые заседания, которыми все это сопровождалось, излишняя, как он замечал, нервозность декана — Н. Я. Марра, с которым он был постоянно связан как секретарь факультета: «До чего мне вся эта бестолковость нервическая осточертела!» [3 мая 1919 г.; там же, л. 224 об.]. В марте 1921 года последовала еще одна реорганизация, в результате которой востоковедные дисциплины стали сосредотачиваться преимущественно на этнолого-лингвистическом отделении ФОН.

Первым деканом нового факультета был избран Н. Я. Марр, ярый сторонник преобразований. Человек темпераментный, взалхлеб увлекающийся новыми идеями¹³, он, несомненно, принял революцию не из каких-либо конъюнктурных соображений, а импульсивно, всей душой, и яфетическую теорию свою искренне считал последним словом революционного языкознания.

Вот свидетельство, как говорится, «свежего» зрителя. В. И. Филоненко, давно оторвавшийся от факультета, наблюдает Н. Я. Марра, которого не видел много лет, на керченской конференции археологов в сентябре 1926 года.

«Главный доклад Н. Я. был — это "Скифский язык". Слушать и понимать Н. Я. без привычки очень трудно. На своем "яфетическом коне" он, как вихрь, носится с востока на запад, с запада на восток, разбрасывая вокруг себя "третий элемент", "материальную культуру", "проблемы". Все как-то сторонятся, жмутся, боясь быть раздавленными» [А, оп. 3, № 922, л. 177 об.].

Но вот что особенно поражает Филоненко, отнюдь не поклонника новой власти и уж ярого противника советской фразеологии: «Как-то странно было слышать из его уст об "империализме в наших научных учреждениях" и о том, "что всех старых ученых надо разогнать", и чем скорее, тем лучше, и, наконец, шедевр всего — его тост на банкете "за здоровье первого турколога В. В. Бартольда и коммунистическую партию"» [там же, л. 177]. Не являются ли эта экзальтированность и некоторая путаница в мыслях ранними симптомами той страшной болезни, что настигла Марра в конце жизни¹⁴?

Университетские профессора-востоковеды вряд ли разделяли восторги своего декана. Они были озабочены необходимостью сохранить десятилетиями складывавшиеся традиции преподавания в Санкт-Петербургском университете, которые в свое время вывели русское востоковедение на одно из первых мест в мире. Дело

осложнялось не одним лишь включением востоковедения в громоздкий ФОН и первоначальным распылением его по разным отделам факультета, но и введением в учебный план целого ряда новых предметов, среди которых, помимо логики и психологии, солидное место отводилось тому, что мы зовем ныне «социально-экономическими дисциплинами» (история мировоззрений, история материализма, основы естествознания, учение о происхождении и развитии общественных формаций, история социализма, государственное право и социалистическое строительство РСФСР), и специальным педагогическим дисциплинам, рассчитанным на будущих школьных учителей (биологические основы воспитания, гигиена, психология юношеского возраста, история педагогики и дидактики, теория трудовой школы).

Понимая опасность затухания научной системы преподавания, востоковеды подают в администрацию Университета записку о секции восточных языков в этнолого-лингвистическом отделении ФОН. Сохранился недатированный черновик ее, написанный рукой И. Ю. Крачковского. В этой записке подчеркиваются отличия восточной секции от других, «обусловленные самим характером подлежащего ее ведению материала и тем задачам, которые могут быть на нее возложены» [А, оп. 2, № 243, л. 5]. Ибо эта секция не может ограничиться подготовкой школьных преподавателей, что является основной задачей других секций этнолого-лингвистического отделения, она «должна доставлять работников с университетской базой для других областей востоковедения, имеющих практическое приложение в России. Настоятельная потребность ощущается не только в лицах, которые придут в живое общение с Востоком, но и в хранителях восточных отделов различных музеев, консерваторах восточных рукописей, историках, исследователях искусства, социально-экономического строя отдельных стран Востока и т. д.» [там же]. И каких бы специалистов ни выпускали все прочие отделения, востоковеды без знания языка работать не могут; таким образом, все обучение должно сосредотачиваться на этнолого-лингвистическом отделении.

Изложив соображения о практическом и общекультурном значении восточных языков, авторы записки подчеркивали трудность их изучения, необходимость особенно интенсивной домашней работы студентов и обосновывали необходимость (учитывая большое количество общих и педагогических дисциплин, включенных в программу) увеличить срок обучения востоковедов на два триместра, добавив к этому обязательную практику в языковой среде не менее чем два триместра.

Быть может, именно об этой записке идет речь в следующей дневниковой записи: «15 ноября 1921 г. Вчера было заседание Совета, на коем читалась составленная нами "декларация". Произошел достаточно глупый скандал: после речи профессора Безикови-

ча, пытавшегося свести вопрос на политику, причем Энгель вопиал о контрреволюционных выступлениях, последний обозвал нашу записку "юмористическим документом". Марр его чуть не прибил. Сделали перерыв, после чего провели все галопом» [А, оп. 2, № 6, л. 296 об.—297].

Можно предположить, что были еще аналогичные записки и бурные обсуждения. Но так или иначе, традиционный профиль университетского востоковедного образования (не трогая, конечно, новых дисциплин) удалось отстоять. Крачковский не без гордости пишет об этом Филоненко 24 марта 1923 года: «От ФВЯ сохранилась сущность, но не название после очень многочисленных реформ. Сначала при образовании ФОН он вошел преимущественно в состав филологического отделения, отчасти этнолого-лингвистического и еще менее исторического и философского. При новой реформе удалось сосредоточить всех в этнолого-лингвистическом отделении, где мы обретаемся и теперь в составе единой предметной комиссии "восточной", которую за отъездом Н. Я. Марра в командировку возглавляю я... Как ни скверно, но все же мне кажется, что "жив курилка" и живы старые коллегианты» [А, оп. 3, № 37, л. 50].

На арабском цикле после смерти И. П. Кузьмина Крачковский оставался чуть ли не единственным преподавателем, только начальный курс обеспечивал М. Н. Соколов. В 1924 году преподавателем факультета был принят В. А. Эберман.

Конечно, не все шло абсолютно гладко — над факультетом то нависала опасность перехода на Дальтон-план или «лабораторный метод» занятий [5, ф. 7240, оп. 14, № 171, л. 16, 25], то очередной раз провозглашалась необходимость «отказаться от традиций историко-филологических факультетов, не имевших конкретных практических задач, и стать на путь использования языкознания и литературы в непосредственном синтезе с общественными науками в смысле выработки практического работника по языку и литературе» [там же, л. 28], то делались попытки сократить число оплачиваемых лекций до максимум шести в неделю [А, оп. 3, № 37, л. 65, 97].

В результате очередных преобразований осенью 1925 года был расформирован громоздкий ФОН: экономическое отделение отошло к Политехническому институту, правовое реорганизовано в юридический факультет, а остальные отделения образовали Факультет языкознания и истории материальной культуры — Ямфак с литературно-лингвистическим отделением, в состав которого входил и восточный цикл.

Крачковскому и на этом факультете удалось сохранить проверенные временем принципы классического преподавания. В отчете факультета за 1926/27 учебный год перечислены арабистические курсы, которые тогда читались:

И. Ю. Крачковский: введение в историю арабского языка, введение в арабскую диалектологию, грамматика разговорного языка, арабская поэзия, Коран.

В. А. Эберман: начальный курс арабского языка, арабские исторические и географические тексты, арабская художественная проза.

Сохранить традицию в Университете было особенно важно, потому что своего рода «полигон» для испытания новых методов преподавания с сугубо практическим уклоном в Петрограде уже появился — новое специальное учебное заведение, Петроградский институт живых восточных языков (ПИЖВЯ), образованный одновременно с аналогичным московским институтом по постановлению СНК РСФСР от 7 сентября 1920 года.

Непосредственными организаторами института в Петрограде и первыми его преподавателями были все те же профессора и преподаватели бывшего ФВЯ, сотрудники Азиатского музея и прочих академических институтов. Инициативную «тройку» составили Н. Я. Марр, С. Ф. Ольденбург и В. Л. Котвич. Кроме них в состав института вошли А. Н. Самойлович, В. М. Алексеев, Б. Я. Владимирцов, А. А. Фрейман, Е. Э. Бертельс, Ф. И. Щербатской, Д. Е. Поливанов, И. П. Кузьмин и др. Все ли они искренне верили в необходимость поиска новых путей или кто-то из них боялся допустить профанацию востоковедного преподавания, если в случае их отказа за дело возьмется неучи, а может быть, просто предпочел конформистскую позицию, — трудно сказать.

С осени 1920 года институт, приравненный к военно-техническим вузам, начал функционировать в здании бывш. Военно-юридической академии (наб. Мойки, 96), весной 1921 г. переехал на Петроградскую сторону (Церковная ул., 17/1), а с 1925 года обосновался в Максимилиановском пер., 7 (здание бывшего Госконтроля).

Срок обучения в институте был определен в три года, включая годичную стажировку в стране изучаемого языка. Первым ректором института был избран В. Л. Котвич.

И. Ю. Крачковский, с самого начала как будто согласившийся работать в институте, по каким-то причинам почти сразу же решил отказаться; об этом свидетельствует запись в дневнике от 24 октября 1920 года: «Все эти дни, строго говоря, ничего не мог делать, до того меня изводят эти вновь появившиеся институты... Думаю от практического отказаться, если только это будет возможно... Записал Котвичу "прошение об отставке". Что-то из всего этого выйдет» [А, оп. 2, № 6, л. 268 об.]. И далее, 26 октября: «Моим отказом по институту все потрясены, но по-видимому внешних мер воздействия принимать не особенно собираются» [там же].

Причины этого нигде не раскрываются. Быть может, он не хотел взваливать на свои плечи еще одну ношу (он ведь преподава-

ние не очень любил)? Или ему претили политизированность преподавания и сугубо практический характер института с ограниченным сроком подготовки специалистов, и он считал всю затею несерьезной? И почему он все-таки через год пошел туда работать?

Снова вопросы без ответа. Впрочем, косвенный ответ на последний из них, кажется, в дневнике можно найти. Вот две записи. «22 декабря (1920 г.). Сегодня полдня провел на коллоквиуме у Кузьмина в Институте Котвича. В общем значительно лучше, чем я предполагал, и некоторые девицы вполне приличны» [там же, л. 273 об.].

«4 июня (1921 г.). Был сегодня на коллоквиуме у Кузьмина в Институте. По исламу сверх ожидания отвечали гораздо приличнее, чем я ожидал, по языку средне» [там же, л. 285 об.].

По-видимому, не хотелось оставлять еще неопытного ученика один на один с трудностями, совесть требовала подставить плечо. Раз вся идея не лопнула, как мыльный пузырь, и какие-то результаты видны, то его долг прийти туда, где без него — хуже¹⁵.

В 1923 году, после смерти И. П. Кузьмина, в институте начинает работать Д. В. Семенов, в 1924 году — К. В. Оде-Васильева, носитель языка, при этом оба — с известным стажем практического преподавания. Маленький, но вполне работоспособный коллектив. И — для Крачковского — работа в институте давала больше возможностей реализовать свой интерес к арабской современности, чем в Университете.

Крачковский читает здесь курсы по истории новой арабской литературы, тексты современной художественной литературы и прессы, арабские диалекты — сирийский, египетский, магрибинские. Он возглавляет арабский разряд (переименованный впоследствии в кафедру), участвует в методических совещаниях, руководит студенческим кружком. Под его редакцией, с его предисловиями выходят учебные пособия — благо институт имеет хорошую полиграфическую базу, не чета Университету. Среди этих пособий есть работы экстра-класса, которые используются в преподавании до сих пор: «Грамматика арабского литературного языка» Н. В. Юшманова, «Образцы новоарабской литературы» К. В. Оде-Васильевой, о которых еще пойдет речь, «Хрестоматия разговорного арабского языка» Д. В. Семенова. Кстати, как особо важную и ценную черту учебного плана института Крачковский отмечает существенную роль преподавания живого разговорного языка, «которое было не так давно совсем в загоне» [5, ф. 7222, оп. 14, № 43, л. 15].

Но и здесь не было стабильности. При нечетком определении профиля выпускника (с каждым пересмотром учебных планов оно формулировалось по-другому) и слишком большом количестве организаций, занимающихся вопросами подготовки востоковедных кадров, структура института и требования к учащимся все время менялись, одно «Положение» отменяло другое, к тому же нависа-

ла постоянная угроза объединения московского и ленинградского институтов, чего не хотели ни москвичи, ни ленинградцы¹⁶, а неуклонно насаждаемая сверху многопредметность, против которой сотрудники боролись как могли, мешала глубокому освоению языков [подробнее см.: 19].

Сложно было и с трудоустройством. Нередко выпускники не могли найти работу по специальности и через некоторое время теряли квалификацию. Нечего и говорить, что все это отрицательно отражалось на качестве работы и порой сводило на нет полезные эксперименты.

Здесь тоже приходилось бороться и против сокращения часов, и против необоснованных требований¹⁷.

И все-таки, несмотря ни на что, преподавание в институте шло непрерывно до самой его ликвидации (вернее, слияния с московским институтом) в 1938 году. В Университете же с 1927 г. арабистика находится под угрозой, поскольку с осени этого года она представлена только сверхштатными (!) преподавателями — профессором (И. Ю. Крачковским) и доцентом (В. А. Эберманом), что явствует из докладной записки И. Ю. Крачковского в Восточную предметную комиссию с требованием вновь утвердить в штате В. А. Эбермана, переведенного на внештатное положение. До 1917 года, пишет он, кафедра обеспечивалась четырьмя преподавателями, а в 1919 году сверх того была открыта кафедра исламоведения со своим штатом. Наличие на кафедре лишь одного профессора и одного доцента «возможно только на переходное время для сохранения некоторой научной преемственности, но конечно не для развития преподавания в той полноте, которая требуется современным состоянием науки и достоинством русского востоковедения. Об этом мною неоднократно заявлялось» [А, оп. 11, № 83, л. 6]. Мало того, теперь кафедра осталась «вообще без всякого определенного штата», похоже на то, что кафедра низводится «в ранг второразрядной сравнительно с другими» [там же, л. 9].

Очевидно, в ответ на требования Крачковского в 1928 году кафедра была укреплена двумя новыми членами. Это были Н. В. Юшманов, блестящий лингвист-теоретик, и лектор К. В. Оде-Васильева, благодаря которой усиливалась практическая сторона преподавания. С учетом их возможностей были разработаны — по поручению Восточной предметной комиссии — новые учебные планы (это поручение относительно планов касалось, разумеется, и других разрядов).

И вдруг... Но лучше предоставим слово еще одному документу — в нем не только изложение событий, но и возмущение его автора, скрытое за корректными деловыми фразами. Это — черновик, написанный рукой Крачковского, датированный 1 октября 1929 года и озаглавленный «Отзыв Совета арабской кафедры об учебных планах»:

«Менее года тому назад, в ноябре 1928 г. арабским разрядом, согласно поручению Предметной комиссии, наряду с другими разрядами были выработаны новые учебные планы, которые по утверждению комиссией были представлены в надлежащие дальнейшие инстанции. Однако при получении из центра новых учебных планов весной оказалось, что предложения разряда и Комиссии не только не приняты во внимание, но самый разряд уничтожен и преподавание арабистики ограничено одной кафедрой, лишенной самостоятельного значения и являющейся только вспомогательной для преподавания в минимальном размере на разрядах или уклонах иранского, турецкого и исторического отделений. При таких условиях вновь учрежденному Совету кафедры, собственно говоря, и не приходится иметь своего суждения об учебном плане: ему может быть предоставлено только суммировать те пожелания, которые выражены другими уклонами, не рассуждая об этом по существу, и удовлетворять тем заявкам, которые делаются этими разрядами. Однако такое положение едва ли соответствует и существу научного дела, которое, можно думать, сохраняет свое значение в Университете, едва ли соответствует и достоинству арабской кафедры с ее более чем вековой историей и заслугами.

Помимо того и в самих новых планах заложен ряд противоречий. Кроме вспомогательных курсов на упомянутых разрядах, по арабской кафедре сохраняется несколько часов "для специалистов", причем неясно, откуда таковые специалисты вербуются. Едва ли под этим наименованием имеются в виду исключительно те студенты поступления последних годов, которые кончают курс по арабскому разряду; говорить же серьезно о том, что можно быть специалистом по арабистике, состоя в другом разряде и занимаясь арабистикой в качестве только дополнительного предмета, конечно не приходится. Такое предположение может возникнуть лишь при отсутствии ясного представления об объеме этой дисциплины в современном востоковедении.

Непонятным в новых учебных планах является сохранение лекторских занятий, переданных ныне младшим ассистентам, в размере 12—15 ч., т. е. в таком количестве, которое никогда не предпринималось не только при существовании самостоятельной кафедры арабистики, но даже и разряда. Если таковых нет, ясно, что лекторская работа не может иметь в виду практического обучения арабскому языку тюркологов или историков; очевидно, она предусматривает усиление занятий по диалектологии и научному наблюдению живого говора. Сюжет несомненно важный, но тоже требующий самостоятельного существования арабского разряда.

Не приходится повторять того, что существование разряда необходимо не только по элементарно научным, но и по государственным соображениям. В настоящее время в Союзе нет и пока не предвидится другого центра, где может быть сосредоточено преподавание

давание арабистических дисциплин в объеме, требуемом современным состоянием науки и историей ее в нашей стране. Между тем, такой центр, хотя бы единственный, конечно необходим для обширной страны, каковой является наш Союз; при отсутствии его пройдет очень немного лет, и в практическом преподавании арабского языка в наличных высших учебных заведениях и во всех областях, связанных с арабистикой, почувствуется пробел, заполнять который будет неоткуда. Число студентов, работающих в этом разряде, всегда было и будет невелико, но нельзя искусственно закрывать дорогу тем, кто хочет здесь работать, и ампутировать тот орган, без которого ряд дисциплин грозит в очень близком будущем получить злокачественное художество.

Ввиду этого Совет арабской кафедры, рассмотрев новые учебные планы, признал их с точки зрения арабистики неудовлетворительными и постановил:

1. Указать на необходимость специального арабистического уклона или разряда в объеме планов, выработанных осенью 1928 г., с предоставлением права работать на нем желающим студентам.

2. Признать необходимым сохранение преподавания арабистических дисциплин в полноте, соответствующей достоинству университетской науки.

3. Ввиду ущерба, нанесенного историко-литературной части этого преподавания увольнением доцента В. А. Эбермана, повторно указать на необходимость его восстановления.

4. Признать желательным присутствие представителя арабской кафедры на тех заседаниях смежных разрядов и отделений, где обсуждаются вопросы преподавания арабистических курсов, как для информации, так и для учета возможностей, предоставляемых кафедрой» [А, оп. 2, № 243, л. 47—49].

Записка, свидетельствующая о беспрецедентной расправе с университетской арабистикой — а это, напомним, совпало по времени с академической «чисткой» — и о том, что арабская кафедра сдаваться не намерена, не возымела непосредственного действия. Но кафедра во главе с Крачковским на этом не успокоилась. В его бумагах, связанных со следующей модификацией факультета — ЛИЛИ¹⁸, содержится еще несколько аналогичных документов, датированных 1931—1932 гг. и связанных с обсуждением на кафедре тех или иных правительственных циркуляров. В этих документах настойчиво проводится все та же мысль о необходимости восстановления арабистики как самостоятельной университетской отрасли с более четким определением задачи подготовки арабистов, какую, кроме Ленинградского университета, ни один вуз Союза осуществлять не в состоянии:

«1. Преподавательский уклон (подготовка смены для ряда ВУЗ'ов).

2. Переводческий уклон (подготовка переводчиков художественной литературы).

3. Библиотечно-рукописный (подготовка работников для описания и сохранения многочисленных ценных рукописных собраний нашей страны).

4. Диалектологически-организационный (для работы среди арабов Средней Азии)» [А, оп. 2, № 257, л. 7—8].

Надо полагать, что и президиум, возглавлявший восточный цикл Ямфака (председатель — А. А. Фрейман) и затем ЛИЛИ, выступал в защиту арабистики, но в университетском архиве документы за эти годы не сохранились. Тем временем к 1931 г. на кафедре остался (на предпоследнем курсе) всего один (!) студент-арабист.

И. Ю. Крачковский с горечью пишет в академическом отчете за 1932 год: «В ЛГИЛИ закончил деятельность в феврале в виду прекращения самостоятельного преподавания по кафедре арабского языка (впервые за стотринадцатилетнее существование ее в Санкт-Петербурге—Ленинграде)» [А, оп. 2, № 143, л. 37].

Отчаявшись — в какой-то тяжкий момент — в возможности восстановить университетскую арабистику, Крачковский обращается к С. Ф. Ольденбургу с предложением возбудить вопрос о передаче рукописей университетской библиотеки в Азиатский музей, ибо «при настоящем положении преподавания арабистики эти рукописи не представляют интереса ни для преподавателей, ни для учащихся, и разработка собственными силами, как было раньше, давно прекратилась, и самое хранение их в указанной библиотеке является каким-то анахронизмом» [А, оп. 2, № 172, л. 119]. Возможно, это было попыткой лишней раз обратить внимание научной общественности на абсурдное положение арабистических дисциплин в ЛИЛИ.

Наконец в 1933 году преподавание арабского языка было восстановлено в рамках одного из самостоятельных циклов вновь организованной кафедры семитских языков и литератур, заведование которой поручили А. П. Рифтину.

С чем же связано было это необъяснимое на первый взгляд гонение на арабистику? Ответ на этот вопрос мы найдем у И. Ю. Крачковского в «Очерках по истории русской арабистики». Собственно говоря, это было недоразумение, в котором повинна в первую очередь некомпетентность тех, кто распоряжался тогда судьбами восточного образования: «Переход ряда языков в эту эпоху на новый латинизированный алфавит вызвал несколько подозрительное отношение не только к арабскому письму, но и к арабской культуре и к арабскому языку вообще: внимание и интерес к ним стали смешиваться с поддержкой арабского письма и ислама» [30, с. 206]. Известно, что подготовка к реформе письменности шла не первый год; в частности, решение о принятии нового

латинизированного тюркского алфавита было принято еще в 1926 году, на Первом всесоюзном тюркологическом съезде [см.: 45, с. 72]. Но кто знал, что это движение примет и такие уродливые формы?

Увольнение же Эбермана — равно как и перевод его двумя годами раньше во внештатные сотрудники — был, очевидно, первым сигналом о его неблагонадежности: если официальная мотивировка увольнения гласила: «по сокращению штатов», то на заседании факультета уже фигурировала формулировка: «по общественным мотивам», хотя фактов никаких не приводилось. «Все мои шаги остаются безрезультатными», — с горечью писал Крачковский своему другу Филоненко [12 июля 1929 г.; А, оп. 3, № 37, л. 126].

Забегая вперед, скажем, что преподавание арабистических дисциплин, обеспечиваемое И. Ю. Крачковским и Н. В. Юшмановым (в 1934 г. к ним присоединился В. И. Беляев, в 1938-м — Оде-Васильева), на кафедре семитских языков сохранило добрые старые традиции вплоть до послевоенных лет, что может засвидетельствовать автор этих строк.

ИМЕНИ БАРОНА РОЗЕНА

А теперь нам надо вернуться немного назад, к началу бурных двадцатых годов, когда востоковеды увлеченно работали во «Всемирной литературе», когда только начинал свою жизнь Институт живых восточных языков, а Университет уже стали сотрясать перемены, у Академии же, как известно, все передраги были еще впереди.

Основной востоковедный очаг в тогдашней Академии — Азиатский музей — был достаточно устойчивой, но достаточно консервативной структурой, чтобы непосредственно содействовать новой правительственной политике по отношению к странам Востока. А политика эта требовала не только перестройки образования для подготовки практических работников, но и создания предпосылок для поворота востоковедения на нужные рельсы и внедрения в него марксистской идеологии.

В 1921 году началась кампания по созданию принципиально новой востоковедной организации, которая должна была объединить и ученых, и практических работников, стать своего рода «лабораторией нового революционного востоковедения» [45, с. 137], которая могла бы руководить изучением Востока «в государственном масштабе» [там же, с. 136]. Появилась некая инициативная группа во главе с М. П. Павловичем, членом коллегии Наркомата по делам национальностей.

Петербургские востоковеды, представители старой школы, встретили эту идею настороженно¹⁹. Вот как описывает И. Ю. Крачковский в дневнике свою реакцию: «24 апреля

(1921 г.). Сильно мне сегодня испортило настроение заседание Коллегии востоковедов, и может быть оно вообще будет чревато последствиями. Речь шла о том, как нам встречать Московские предложения насчет создания "центра" востоковедов, институтов и пр. Я излагал свои соображения о невозможности нам сделать это в виде чиновников комиссариата. Поливанов обозвал сие организацией саботажа. Ольденбург предложил ему взять свои слова обратно. Чувствую, что будет много возни» [А, оп. 2, № 6, л. 281]. К счастью, его выступление прошло без последствий.

Кампания завершилась декретом ВЦИК от 13 декабря 1921 года «Об организации Всесоюзной Научной ассоциации востоковедения (ВНАВ)», цели которой определялись так: объединение «всех начинаний в области востоковедения и использование научных сил для всестороннего изучения Востока» [45, с. 138].

Ассоциация, просуществовавшая до 1930 года, проводила дискуссии по вопросам национально-освободительного движения на Востоке, организовывала археологические и этнологические экспедиции, издавала журнал «Новый Восток», книги и брошюры. Разумеется, трудно было ждать серьезных научных достижений от организации, во главе которой стоял человек, не имеющий никакого востоковедного образования, профессиональный революционер, к тому же позволявший себе пренебрежительно высказываться о значении изучения древних восточных языков и цивилизаций, а также недооценивавший роль дореволюционных востоковедных школ²⁰.

Несомненно, именно ВНАВ имел в виду И. Ю. Крачковский, когда в своем цитированном выше ответе «Известиям» о задачах Академии наук писал в мае 1928 года следующее: «У нас принято хвалиться успехами востоковедения, причем часто это выражается в форме старого лозунга о закидывании шапками, но здесь далеко не все обстоит благополучно... Научное востоковедение очень часто смешивается с журнальной литературой по Востоку, а для специальных работ часто приходится искать приюта за границей» [А, оп. 2, № 153, л. 3].

Действительно, работы членов ассоциации носили преимущественно публицистический характер, причем многие ее сотрудники, не владевшие восточными языками и не знавшие толком истории Востока, нередко пользовались непроверенным материалом из вторых рук²¹, на основе которого пытались делать «исторические» построения, страдавшие вульгарным социологизмом и изобиловавшие неточностями и недоразумениями. Так, И. Ю. Крачковский, рецензируя книгу В. А. Кряжина «Национально-освободительное движение на Ближнем Востоке», выпущенную ВНАВ в 1923 году, отмечает односторонний выбор источников (в частности, игнорирование автором русской научной литературы и восточной прессы), множество фактических ошибок, засорение языка книги газетными штампами и приходит к следующему неутешительному выводу: «В

результате, немногие новые данные, которые вводит книга В. А. Кряжина впервые в русскую литературу, теряются среди обильных погрешностей и недоразумений. Даже человек, несколько знакомый с предметом, не всегда разбирается в них без труда, а простому читателю и, в частности, учащемуся она сообщит немало ошибочных сведений» [62, № 3, с. 178].

Надо отдать ей справедливость, ассоциация стремилась привлечь к своей работе востоковедов старой школы. О необходимости использовать достижения дореволюционной науки высказывался все-таки порой и сам Павлович; член президиума Гурко-Кряжин писал, что советское востоковедение может развиваться только «путем синтеза тех элементов, которые были сильны у старого востоковедения с теми новыми началами, которые были стихийно привнесены революцией и оформлены Лениным» [цит. по: 45, с. 143].

Редакция «Нового Востока» старалась получить статьи от ученых-востоковедов. Уже в первых номерах были опубликованы работы Бартольда, Марра, Самойловича, Гордлевского; печатались вполне благоприятные рецензии на труды того же Бартольда, Владимирцова, Ольденбурга, Бертельса, на некоторые книги с предисловием Крачковского, на сборник с его участием²².

Правда, подлинного сплочения двух направлений в востоковедении все же не получилось. В члены ассоциации из ученых старой школы вошли лишь Н. Я. Марр²³, А. Н. Самойлович и В. А. Гордлевский. Остальные, очевидно, сохранили настороженное к ней отношение. В частности, Крачковский замечает в письме к Филоненко от 3 августа 1925 года: «При мне открывалось в Киеве отделение Ассоциации, и наивные учредители даже меня приглашали прийти, но я уклонился» [А, оп. 3, № 37, л. 76 об.]²⁴.

Но у петроградских — ленинградских востоковедов была и своя научная организация — Коллегия востоковедов, созданная несколько раньше ВНАВ. Первоначально она возникла на Факультете общественных наук: распыление университетского востоковедения по разным циклам делало необходимым создание некоего объединяющего органа.

Устав коллегии был утвержден 26 июня 1920 года, целью своей она ставила «обсуждение возникающих вопросов как университетского, так и внеуниверситетского преподавания востоковедения» [19, с. 11]. После бурного обсуждения московского предложения о создании востоковедного центра (24 апреля 1921 г.), о чем, как уже говорилось, имеется дневниковая запись И. Ю. Крачковского, В. В. Бартольд выступил 27 апреля в заседании ОИФ АН с предложением организовать при Азиатском музее координирующий востоковедный орган — Коллегию востоковедов, от которой «органы правительственной власти могли бы получать ответы на вопросы, связанные с востоковедением» [7, с. 37]. То есть коллегия была создана в известной степени в противовес будущей ВНАВ с

целью сохранить научное направление в востоковедении, не отворачиваясь при этом от нужд государства. Характерно, что в комиссию по организации этого объединения Крачковский вошел вместе с В. Л. Котвичем, С. Ф. Ольденбургом, И. А. Орбели и В. В. Бартольдом, которого избрали председателем. В мае было принято «положение» (устав) коллегии, подготовленное Бартольдом; в нем указывалось, что коллегия «обсуждает и дает заключения по всем вопросам, касающимся изучения Востока и преподавания востоковедения, как возбуждаемым государством и общественными учреждениями, так и возникающим в самой Коллегии» [1, ф. 68, оп. 1, № 432, л. 186].

Позже, в «Очерках по истории русской арабистики», Крачковский скажет о Коллегии востоковедов как о преемнице Восточного отделения Археологического общества, деятельность которого после революции постепенно замирает [30, с. 207]; уже сама по себе эта оценка — достаточное свидетельство об основном характере деятельности коллегии. За 9 лет ее существования вышло пять объемистых томов «Записок» разнообразной, но всегда строго научной тематики. Что касается деятельности в коллегии Крачковского лично, то он прочел в ее заседаниях 16 докладов, отражавших его текущую научную работу в разных отраслях арабистики и отнюдь не насыщенных сверхактуальными политическими проблемами, и опубликовал в «Записках» 18 статей и рецензий.

Существовал в 20-е годы все же некий очаг научной деятельности и при Университете. Через два месяца после цитированного выше заявления комиссии по реформе преподавания о неуместности научной работы в вузах при Факультете общественных наук был образован специальный научно-исследовательский институт — Институт литератур и языков Запада и Востока им. А. Н. Веселовского (ИЛЯЗВ), просуществовавший под эгидой Университета до марта 1928 года, когда он перешел в ведение Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук; в 1930 году он был преобразован в Институт речевой культуры.

В работе Института им. А. Н. Веселовского принимали участие почти все факультетские востоковеды; председателем восточной секции института был избран И. Ю. Крачковский. В его отчетах по институту упоминаются описание арабских рукописей университетской коллекции, доклады, прочитанные в заседаниях института, руководство работой аспирантов и молодых научных сотрудников — Виленчика, Эбермана и Юшманова, занятия с ними по «изящной литературе арабов и по современному арабскому языку в Сирии» [А, оп. 2, № 143, л. 20], по «теории арабской поэтики» [там же, л. 22].

По идее в Институте им. Веселовского как раз и должно было осуществляться — в научном плане — то самое «западно-восточное взаимное обогащение», о котором мечтали Н. Я. Марр и

С. А. Жебелев при создании ФОН. Однако, насколько могу судить, планомерной работы в этом направлении не велось.

Да и оборвалась деятельность востоковедов в этом институте скоро и внезапно: 15 декабря 1927 года все они получили от директора института Н. С. Державина уведомление о том, что с этого дня они переводятся «из штатных действительных членов во внештатные с прекращением выплаты содержания» [А, оп. 2, № 254, л. 4] и одновременно еще одну повестку: директор как ни в чем не бывало приглашал их на собрание совета института 28 декабря, на котором он собирался доложить о произведенной в институте реформе, и просил их подготовить «свои предложения об участии в работах ИЛАЗВ» [4, ф. 288, оп. 2, № 101, л. 10]. Удивительно ли, что в ответ на столь бесцеремонное обращение ученые ответили полным разрывом всяких отношений с институтом, в более или менее резкой форме — в зависимости от темперамента²⁵.

Со всеми «новшествами» что-то надломилось в коллективе петербургских востоковедов. Об этом с грустью пишет Крачковскому А. Н. Самойлович: «Вспоминая добрые старые времена, когда отношения между коллегами по специальности (если не друзьями) были более близкими и ясными, чем теперь (где собака зарыта — не знаю!), пишу наконец и Вам, дорогой Игнатий Юлианович» [письмо из Баку от 23 нояб. 1923 г.; А, оп. 3, № 811, л. 25]. Полагаю, что водоразделом здесь послужило отношение к действиям новой власти: безоговорочное их принятие и сотрудничество — с одной стороны, и оппозиция, молчаливая или открытая, — с другой.

Крачковский, несомненно, переживал этот разлад не менее тяжело. Но перед ним стояла и конкретная организационная задача: создание сплоченного дееспособного сообщества арабистов. Теперь было уже совершенно ясно — всем и ему самому тоже, — что именно он оказался наследником В. Р. Розена не только в ученых трудах, но и в деле формирования необходимой научной среды, без которой невозможно воспитание молодого поколения, да вообще невозможно никакое движение вперед. Много позже, тоже в достаточно критический для арабистики момент, он очень четко сформулирует в одном из докладов то, что, несомненно, было ему вполне ясно уже давно: научная работа «всегда требует некоего резонанса, обычной научной атмосферы, а прежде всего возможности обсуждения ведущихся работ, обмена мнений, особенно соотвествующей критики» [А, оп. 2, № 175, л. 174].

Чем дальше, тем острее должна была ощущаться необходимость объединения арабистов — в первую очередь именно арабистов, а не востоковедов вообще (как было при Розене с его Восточным отделением Археологического общества и дружным факультетом). Разумеется, здесь играл свою роль и рост общего числа специалистов в послереволюционные годы, и намечавшаяся в нау-

ке тенденция к более узкой специализации и дифференциации, но главное — бедственное положение, в котором все больше и больше оказывалась арабистика.

К концу 20-х годов университетская кафедра почти закрыта, от Института имени Веселовского востоковеды отторгнуты, а ЛИЖВЯ по своему характеру не был приспособлен для научно-организационных целей. При Коллегии востоковедов существовали отраслевые институты и кабинеты: Институт яфетидологических изысканий, Институт буддийской культуры, Кавказский историко-археографический институт, Туркологический кабинет, но арабистической научной ячейки среди них не было.

Безусловно, Крачковский давно уже вынашивал проект создания группы или кружка арабистов; внешним толчком к осуществлению этого проекта могло послужить одно частное, но немаловажное обстоятельство: в августе 1927 года Крачковские переехали в академическую квартиру в первом этаже дома на углу 7-й линии Васильевского острова и Николаевской (впоследствии Лейтенанта Шмидта) набережной. По символическому совпадению это была та самая квартира, где в свое время жил В. Р. Розен и куда молодой магистрант Крачковский двадцать лет тому назад ходил читать аль-Ахтала и Ибн Яйша²⁶.

Первая дверь из прихожей налево вела в просторный кабинет, где по стенам располагалась основная часть библиотеки И. Ю. В середине комнаты стоял письменный стол и кресло, а сбоку, возле полка — еще один стол с венскими стульями вокруг, за которым можно было проводить занятия и заседания. Наличие такой возможности и было последним решающим условием: ведь для того чтобы создать объединение всех арабистов Ленинграда, разбросанных по разным учреждениям, необходимо было собираться в нерабочее время, по вечерам.

18 декабря 1927 года И. Ю. Крачковский подает в Коллегию востоковедов следующее заявление:

«Обращаюсь в Коллегию с просьбой о разрешении образовать при ней кружок арабистов имени барона В. Р. Розена. Если Коллегия сочтет это возможным, занятия кружка будут проходить под моим руководством в моей квартире и никаких затрат ни со стороны АН в целом, ни Коллегии востоковедов не потребуют, кроме предоставления в исключительных случаях для заседания одного из академических помещений.

Проект положения о кружке при сем прилагается²⁷.

Член Коллегии И. Крачковский».

Черновик этого заявления сохранился в личном архиве Крачковского. Сверху имеется карандашная помета, сделанная его рукой: «После беседы с В. В. Бартольдом решено отложить».

Остается только гадать, какие доводы привел Бартольд против предложения Крачковского, казалось бы, такого естественного, а главное — легко исполнимого. Так или иначе, Крачковский не сдался и решил осуществить свою затею неофициальным путем.

Около 20 января 1928 года все ленинградские востоковеды, имеющие какое-либо отношение к арабистике, получили по почте машинописные повестки следующего содержания:

«Академик И. Ю. Крачковский доводит до Вашего сведения, что в понедельник 23 января с. г. в 8 часов вечера в его квартире (В. О., 7 линия, д. № 2, кв. 1, вход с набережной) состоится частное собрание ленинградских арабистов для обмена мнений по текущим вопросам арабистики и просит Вас, в случае возможности, пожаловать на это собрание» [А, оп. 2, № 172, л. 6].

На это приглашение, неофициальный характер которого особо подчеркивался нестандартной манерой выражения (разве что «текущие вопросы» несколько выпадали из стиля), откликнулось 16 человек; считая обоих Крачковских, на первом собрании присутствовали 18 востоковедов. Вот список членов кружка, как он зафиксирован в первом протоколе: И. Ю. Крачковский, В. И. Беляев, Е. Э. Бертельс, А. Я. Борисов, А. А. Быков, Я. С. Виленчик, И. Н. Винников, И. И. Гинцбург, М. М. Гирс, В. А. Крачковская, К. В. Оде-Васильева, М. А. Салье, Д. В. Семенов, М. Н. Соколов, Р. Р. Фасмер, В. А. Эберман, Н. В. Юшманов, А. Ю. Якубовский [А, оп. 2, № 174, л. 4].

С невеселой речью обратился И. Ю. Крачковский к присутствующим. Подчеркнув, что дата собрания выбрана не случайно — 20-я годовщина со дня смерти В. Р. Розена, — он заговорил о причинах, побудивших его собрать коллег, чтобы обменяться мнениями о желательности организации кружка арабистов. До сих пор, говорил он, традиция русской арабистической школы, от Сенковского и Болдырева, развивалась непрерывно; с времен Гиргаса она приобщилась к европейским научным течениям и достигла своего апогея при бароне В. Р. Розене.

Ученики Розена поддерживали его традицию, даже после 1917 года наблюдался некоторый подъем по трем линиям — исламоведению, филологии, лингвистике. В настоящий же момент арабистика в России переживает критический период, возможен даже более или менее длительный перерыв в традиции университетского преподавания, а наличные силы распылены по различным учреждениям.

Угроза судьбе классической арабской филологии, за которую мы несем ответственность, делает необходимым объединение всех арабистов на тот случай, если придется поддерживать существование арабистики частными усилиями. Другая цель такого объединения — обмен мнениями и соображениями по поводу текущей научной работы каждого из арабистов и сообщения о новой литературе по специальности. Задачи кружка и Коллегии востоковедов пол-

ностью не совпадают: там предполагается прочтение совершенно оформленных уже, чисто научных докладов перед представителями различных специальностей. Наличие объединения более однородного дает возможность совместного рассмотрения и обмена мнениями по поводу возникающих вопросов в специальной области [там же, л. 148 и А, оп. 2, № 175, л. 14].

Игнатий Юлианович подчеркивал, что кружок мыслится ему не как ученое общество, не как учебное заведение, что деятельность его должна будет протекать неформально. Первое время это объединение должно носить характер частного кружка. Если же он «своей деятельностью оправдает существование, возможен вопрос о его официальном оформлении» [А, оп. 2, № 174, л. 148].

Все присутствовавшие поддержали идею. Кружку присвоили имя барона Розена, председателем его избрали И. Ю. Крачковского, секретарем — В. И. Беляева, чьим аккуратнейшим почерком и написаны все протоколы собраний; установили периодичность заседаний: раз в две недели.

Крачковский не был уверен, что его новому детищу суждена долгая жизнь. В тот же день, 23 января, он делает в дневнике осторожную запись: «Устраивал сегодня первое собрание арабистического кружка в годовщину смерти барона. Интересно знать, выйдет ли что-нибудь из этого или нет» [А, оп. 2, № 6, л. 324 об.].

Вышло! Разумеется, по ходу дела в составе кружка произошли некоторые изменения: так, Я. С. Виленчик по болезни (он был полностью лишен слуха) посещать заседания не мог; М. Н. Соколов присутствовал только на первом заседании (очевидно, его научные интересы были далеки от интересов большинства), зато с октября 1928 года в кружок входит Г. В. Церетели, с осени проходивший в Ленинграде научную подготовку под руководством И. Ю. Крачковского; на некоторые собрания приходили и посторонние. Самыми аккуратными членами были председатель и секретарь; почти на всех заседаниях присутствовали Винников, Гирс, Гинцбург, Крачковская, Оде-Васильева, Салье, Семенов, Фасмер, Церетели, Эберман, Юшманов. Якубовский перестал посещать кружок с середины 1929 года; Бертельс, Борисов и Быков бывали на заседаниях от случая к случаю, но все же иногда выступали с докладами. Таким образом, костяк кружка составили 13 человек; на заседаниях присутствовали обычно человек 12—13.

Первое, что поражает современного читателя при знакомстве с протоколами кружка, — регулярность заседаний этого неофициального содружества. С членов кружка никто формально ничего не требовал, отвечали они только сами перед собой. Все держалось, как говорится, на чистом энтузиазме. И вот в течение двух в половиной лет они неизменно собирались каждые две недели (сдвиг мог быть не более чем на 2—3 дня). Летом были каникулы в два с половиной—три месяца. Итоговые заседания оба раза про-

водились 23 января, день в день. В конце каждого очередного собрания намечалась дата следующего и фиксировалась в протоколе. Нечего и говорить, что подобная регулярность — заслуга самого Крачковского. А какая это была прекрасная школа для молодых научных работников!

Всего за два с половиной года существования кружка было проведено 50 заседаний, все они проходили на квартире Крачковских. Заседания начинались обычно с «текущих дел» — то есть разного рода мелких сообщений и обмена информацией. В частности, И. Ю. Крачковский постоянно сообщал о письмах, полученных им от иностранных ученых. Так, Гибб рассказывал ему о встрече с Амином Рейхани и интересовался, как идет подготовка к изданию текста Ибн аль-Мутаазза; Кампфмейер писал о том, что собирается опубликовать перечень работ Крачковского по новой литературе и какие-то из них перевести на немецкий язык; редакция «Хандбух дер Литтературвиссеншафт» обращалась к нему с предложением написать очерк арабской литературы; Гарсиа Гомес — с просьбой дать рецензию на свою книгу о западных версиях романа об Александре Македонском. Перес информировал о смерти алжирского арабиста Бен Шенеба — Крачковский, сообщая в заседании об этом, пользуется случаем дать слушателям краткую характеристику покойного.

Немало было выслушано сообщений и об отечественных арабистических новостях: о приобретении Крачковским рукописи перевода Корана Д. Н. Богуславского, о сооружении стараниями В. И. Филоненко памятника на могиле Медникова в Крыму, о поисках в Полтаве сведений относительно Михаила Нуайме, о посещении могилы шейха Тантави на Волковом кладбище, об арабистике в Ташкентском университете (по письму Шмидта). Было обнаружено и сенсационное сообщение: письмо А. Н. Бурыкиной и М. М. Измайловой, обнаруживших арабов в Средней Азии. Зачитывалось предисловие С. Ф. Ольденбурга к переводу «1001 ночи» и письмо Ю. Н. Тынянова, просившего установить арабский оригинал одного изречения, приводимого Пушкиным в «Путешествии в Арзрум»; демонстрировались сабейские таблички, присланные Крачковскому для дешифровки, и коллекция поддельных южно-арабских надписей... Перечислять можно без конца — в некоторых заседаниях заслушивалось более десятка подобных сообщений.

Разумеется, львиная доля этих сообщений принадлежала самому Крачковскому, но в протоколах мелькают имена и других членов кружка: так, В. И. Беляев напоминает о выдвинутом в свое время Гольдциером проекте издания хрестоматии богословско-юридических арабских текстов, план которой сохранился в письме А. Э. Шмидта В. Р. Розену; Эберман информирует о получении фотографии рукописи с рассказом о Ваддахе аль-Йемен, о котором он пишет диссертацию; В. А. Крачковская сообщает о найденном в Каирском музее древнем арабском надгробии. Эберман вы-

двигает такой проект коллективной научной взаимопомощи: пусть каждый член кружка сообщит, какие имена собственные, термины и т. п. его интересуют, чтобы те, кому они попадутся при чтении арабских авторов, фиксировали бы их для товарищей. И сам тут же предлагает целый список интересующих его арабских имен и реалий.

Еще одно любопытное начинание, предложенное И. Ю. Крачковским: составление портретной галереи европейских востоковедов. Были сочинены и размножены обращения на немецком и французском языках с просьбой о присылке портретов и отправлены заказными письмами многим известным востоковедам. Всего было отправлено 135 писем и получено 95 портретов.

Вторым пунктом заседания стоял обычно научный доклад или реферат; всего их за два с половиной года зачитано 56, примерно пятая часть (11 докладов) приходится на долю И. Ю. Крачковского. Остальные члены кружка, кроме Быкова, Якубовского и Церетели, также выступали с научными сообщениями; наибольшей активностью отличались Крачковская, Эберман и Юшманов. Дважды зачитывались работы московской арабистки Кашталевой. Доклады касались самых разнообразных тем; часто это были рецензии на те или иные новые издания. Некоторые из докладов нашли свое завершение в статьях, вошедших в 5-й том «Записок Коллегии востоковедов», посвященный научной деятельности И. Ю. Крачковского; по ним можно судить и о тематике, и об уровне докладов на кружке²⁸. Каждый доклад — это видно по протоколам — вызывал оживленную, явно не формальную дискуссию.

Редкое заседание обходилось без обзора или кратких аннотаций новых изданий по арабистике (иногда этот пункт заседания откладывался из-за позднего времени). В этом пункте повестки дня центральным действующим лицом был опять-таки сам Игнатий Юлианович. В поле его зрения попадали статьи из советских, европейских и арабских журналов, книги, изданные у нас и за рубежом, в том числе в арабских странах; он не обходил вниманием и произведения советских писателей, в которых упоминались какие-либо имена или факты, связанные с арабистикой, как «Скандалист» В. Каверина или «Смерть Вазир-Мухтара» Ю. Тынянова. Всего членами кружка за два с половиной года был дан обзор более чем 450 книг и статей.

На двух годичных собраниях — 23 января 1929 и 1930 гг. — подводились итоги деятельности кружка, которые явно радовали Крачковского, и обсуждалось состояние арабистической работы по Союзу, которое продолжало вызывать тревогу.

Не удовлетворяясь возможностями «вольного содружества», как он определял положение кружка, Крачковский все это время продолжает борьбу за создание «объединяющего центра» арабистики, который не только бы руководил научной деятельностью,

но имел бы определенный официальный статус и материальную базу. 8 февраля 1929 года он обращается с запиской в ОГН АН, предлагая создать в качестве академического института Кабинет арабской филологии им. В. Р. Розена, пока хоть из трех штатных единиц, и при нем — научный кружок. Под кабинет предлагается отвести две комнаты в его квартире²⁹. К записке прикладывался примерный план работы и смета расходов кабинета.

17 февраля 1929 года этот проект был полностью принят группой по востоковедению ОГН АН, после чего отделение возбудило соответствующее ходатайство перед президиумом АН [А, оп. 2, № 172, л. 12]. Однако осуществление проекта задерживалось в связи с предстоящей реформой АН и предполагаемой организацией Института востоковедения. Таким образом, кружок продолжал свое неофициальное существование.

1 марта 1930 года Крачковский подает новую докладную записку в группу востоковедения ОГН, подчеркивая, что из-за бесконечных промедлений в официальных инстанциях пункты плана, намеченного для до сих пор не открытого кабинета, начинают осуществляться за рубежом, как уже произошло с классификацией библиографических материалов по истории новоарабской литературы, которая предпринята в Германии, где это начинание, «вероятно, и будет осуществлено с большим успехом и быстротой, чем у нас, но уже без нашего руководящего участия. При дальнейшем промедлении такая же судьба постигнет и другие лежащие перед нами задачи вплоть до описания и опубликования хранящихся у нас материалов» [А, оп. 2, № 175, л. 41].

Тем временем дело осложнилось еще и тем, что в начале 1930 года вышло распоряжение о повышении квартирной платы в зданиях АН. Квартира Крачковских, по оценке Веры Александровны, имела жилую площадь около 160 кв. метров [А, оп. 7, № 28, л. 63 об.]. Безусловно, повышение должно было бить по карману, к тому же положение университетской кафедры в этот момент казалось безнадежным и похоже было, что скоро местом работы Крачковского останется только Академия: ведь нужно будет сохранить хоть какие-то скудные места для учеников!

Выход: или перепланировка квартиры со значительным сокращением ее площади — или решение Академии снять с него оплату тех двух комнат, которые фактически должны были отойти под Кабинет арабской филологии.

10 апреля 1930 года Крачковский подает еще одну записку, на этот раз прямо в президиум АН. Приведу ее полностью.

«В Президиум АН СССР

Последняя академическая сессия решила принципиально вопрос об организации в составе будущего ИВАН, как рабочих ячеек, Кабинетов по отдельным дисциплинам. Не предвещая вопроса о том, будет ли Арабский кабинет представлять самостоятельное

целое или входить в состав более крупного отделения, как секция, мне кажется необходимым уже теперь поставить вопрос о помещении для него. Дело в том, что работа фактически уже идет и суммы, отпущенные на индивидуальные работы академиков, несмотря на их незначительность, позволили начать некоторые изыскания, которые планомерно будут осуществляться предполагаемым кабинетом³⁰.

Азиатский музей в связи с размером своих помещений не в состоянии будет выделить отдельной комнаты для Кабинета; между тем, это необходимо как для сосредоточения работы, так и для собраний небольшого кружка ленинградских арабистов, который может составить прочную базу для Кабинета, олицетворяя собой, если можно так выразиться, арабистическое общественное мнение. Кроме того, желательно располагать таким помещением, в котором без особых технических затруднений были бы возможны вечерние занятия, чему тоже не удовлетворяет Азиатский музей.

Эти обстоятельства позволяют мне обратиться в Президиум с предложением отвести под Кабинет две комнаты в занимаемой мной квартире, в которых и до сих пор по существу шли указанные мною занятия. Такое решение позволит мне теперь же передать в пользование Кабинета свою специальную библиотеку, которая по некоторым областям арабистики представляет — смею думать — единственное в Ленинграде и Союзе собрание. Я предполагаю пожизненно сохранить ее в своем распоряжении, и помещение Кабинета в другом здании лишит меня возможности совершить эту передачу при жизни. Такое решение вопроса не потребует особых расходов на перепланировку³¹ квартиры, так как комнаты имеют отдельный ход непосредственно из передней и легко могут быть отграничены от остальных жилых помещений. Не потребуется временно и специального оборудования инвентарем, так как работа может идти, впредь до значительного расширения, при той обстановке, которая находится в комнатах теперь, книги же помещены в специально оборудованных шкафах и на полках.

О решении Президиума мне было бы желательно узнать в возможно непродолжительном времени, так как хозяйственная часть АН требует у меня срочно сведений о предполагаемой перепланировке квартиры» [А, оп. 2, № 175, л. 48].

Есть и еще одна, недатированная, бумага в президиум, где прямо ставится вопрос о возможности — по известным уже обстоятельствам — снижения для него квартплаты, иначе оказывается под ударом вся его ценнейшая библиотека: «...придется подумать о ликвидации ее по частям или в целом, а это для всякого ученого представляет очень болезненный вопрос, иногда вопрос жизни и смерти» [А, оп. 2, № 175, л. 51].

В архиве не сохранилось официальных ответов президиума на эти предложения. Быть может, ответов и не было: предложения

ведь были по сути вполне логичными, но, полагаю, помещение **государственного** учреждения, каким должен был быть Арабский кабинет ИВАН, на **частной** квартире — для советской бюрократической машины это решение было невозможным, тем более что работу кабинета при этом трудно было бы контролировать с идеологической точки зрения. А время для такого контроля уже настало...

События обернулись так, что и Кругу им. барона Розена пришлось прекратить свое существование. И. Ю. Крачковский в отчете по Академии за 1930 год называет в качестве причины этого «сокращение квартиры и необходимость ликвидировать часть библиотеки» [А, оп. 2, № 143, л. 31 об.]. Думаю, что дело не только и даже не столько в этом: ведь оба кабинета, основные книги и стол для занятий остались на старом месте, этих двух комнат перепланировка не коснулась, и вряд ли Крачковский прекратил занятия кружка, своего любимого детища, чисто «из принципа». Просто всякого рода частные научные кружки оказывались теперь уже делом небезопасным — вспомним хотя бы судьбу студенческого кружка, в котором тогда принимал участие молодой Д. С. Лихачев.

Уже в конце 1928 года были арестованы востоковеды-синологи Н. В. Пигулевская и А. П. Алявдин, входившие в возглавляемое философом А. А. Мейером религиозно-философское общество «Воскресение», названное так — согласно обвинению — якобы потому, что оно ставило своей целью воскресение старого режима [65, 1989, № 4, с. 121].

15 декабря 1929 года Крачковский пишет Филоненко (после сообщений в предыдущих письмах о «чистке» в Академии): «Очередь дошла до научных кружков, и теперь они находятся под ударом; неизвестно, в каком еще виде удастся сохранить Коллегию Востоковедов» [А, оп. 3, № 37, л. 138].

Но занятия своего кружка арабисты мужественно довели до конца учебного года. 16 июня 1930 года состоялось последнее его заседание с докладом В. А. Эбермана «О некоторых ближневосточных миниатюрах в ленинградских книгохранилищах», а через несколько дней после этого Эберман был арестован и отправлен на Беломорканал. Возможно, в этом сыграла роль его нескрываемая религиозность (по словам жены В. И. Беляева, Л. Н. Беляевой, у него даже в институте над столом висела икона).

Надо полагать, И. Ю. Крачковский, чувствовавший ответственность за своих младших коллег, не решился подвергать риску членов кружка, продолжая неофициальные собрания у себя на квартире.

В главе XI мы вернемся к рассказу о борьбе И. Ю. Крачковского за создание Арабского кабинета в начале 30-х годов. Пока же, завершая историю частного кружка ленинградских арабистов,

нужно сказать, что значение его неопределимо: в период «арабистического безвременья» он организовал разрозненные кадры, послужил сохранению «ученой атмосферы», живой научной жизни; члены его проходили образцовую научную школу, в которой получали всё — исследовательские, критические и библиографические навыки, опыт научного содружества и дисциплины труда.

Дело барона Розена попало в хорошие руки.



ГЛАВА X

Как взвесить обретенья и утраты?

«НЕЧАЯННО ПОПАЛ НА СОБСТВЕННЫЙ ЮБИЛЕЙ»

Даже по скудным выдержкам из протокола кружка арабистов видно, какие широкие связи сложились у Крачковского к концу 20-х годов. Он приобрел авторитет первого арабиста Советского Союза: ему писали из разных городов, обращались с вопросами, просили совета, сообщали о новых достижениях и открытиях. И не было случая, чтобы он не ответил на какое-либо письмо.

В протоколах кружка немало и иностранных имен, с зарубежными учеными тоже идет интенсивный обмен научной информацией¹.

В 1923 году он был избран в члены Арабской Академии в Дамаске — то есть его авторитет был признан и на Востоке.

Он даже жалуется В. И. Филоненко: «В последнее время совсем одолели иностранцы, которые все обращаются с разными просьбами — то сличить какой-нибудь текст, то сообщить сведения о неописанной рукописи и т. д. Видно, что у них работа идет, а нам не поспеть. Арабисты же мои совсем сошли на нет и поручить некому» [А, оп. 3, № 37, л. 68 об.—69]. Это написано еще 18 февраля 1925 года, то есть до организации кружка.

«Нам не поспеть...» Эта мысль мучает постоянно, ибо для Крачковского одной из очень важных ценностей всегда был престиж русской науки. Пятнадцать лет назад он, отказываясь завершить практику на Востоке поездкой на Запад, гордо писал, что ученику Розена нечему учиться в Европе, а теперь? Мало того, что организационные препоны мешают наладить работу с наличным материалом, оказалось, что возможности получения нового материала почти закрыты: его не выпускают за границу! Иначе говоря, лишают возможности наладить нормальный книгообмен с зарубежными странами.

Дело обстоит так. Осенью 1925 года Крачковский поднял вопрос о годичной командировке в арабские страны — Египет, Сирию, Палестину. В архиве Академии наук сохранилась состав-

ленная Крачковским официальная записка² — обоснование необходимости этой поездки, — свидетельствующая о большой обеспокоенности его проблемой пополнения книжных фондов Азиатского музея новейшей литературой:

«По мере того, как восстанавливаются сношения с Востоком, перед Азиатским музеем все грознее встает вопрос о пополнении пробелов в его собраниях, накопившихся за последние 10 лет. И до войны это пополнение часто отставало от роста восточной печати, теперь же громадные лакуны требуют спешной выработки плана их пополнения; через несколько лет будет уже поздно и многого нельзя будет восстановить. Первый шаг в этом направлении сделан экспедицией в Персию; не менее важен и еще более сложен вопрос об арабских странах...

Лицу, отправляющемуся в экспедицию, предстоит трудное задание. Ему прежде всего надо непосредственно ознакомиться со всем, что напечатано на Арабском Востоке за истекшие со времени перерыва сношений годы; из всей массы этого печатного материала, учитывая состав и цели Азиатского музея, надо выделить то, приобретение чего является существенно необходимым; надо обратить особое внимание на новоарабскую литературу, которая во всех европейских книгохранилищах до сих пор была представлена случайно, и заложить прочное основание для изучения жизни нового Востока, идущего вперед быстрыми шагами; наконец, путем сношений с государственными учреждениями, издательствами и книжными фирмами подготовить почву для получения необходимой литературы» [А, ф. 2, оп. 1—1925, № 11, л. 27].

Эта идея не встретила никаких возражений ни в Академии, ни в Университете, ни в Восточном институте. Также без всяких препятствий пошло дело и у Веры Александровны (она в то время работала в Эрмитаже, где тоже были заинтересованы в налаживании связей с Востоком). В удостоверении, выданном Крачковскому Академией наук 5 мая 1926 года, значилось, что едет он в арабские страны для «производства научных исследований в упомянутых странах в области изучения языка, литературы и археологии их, а также для приобретения интересующих Академию изданий, рукописей и этнографических и археологических коллекций и предметов и для восстановления более тесных связей с соответствующими иностранными научными учреждениями» [А, оп. 2, № 223, л. 4]. Наркомпрос против командировки тоже не возражал. Дело затянулось с заграничными паспортами — и кончилось отказом, несмотря на все хлопоты С. Ф. Ольденбурга.

На следующий год та же история повторилась с поездкой в Швецию, куда Крачковский был приглашен прочесть две лекции в Упсальском университете: уже и лекции были готовы и переведены на немецкий язык, рассчитаны маршруты, даже сообщение о его поездке появилось в «Вечерней Красной газете» — и снова отказ на Дворцовой площади.

А другие академики ездили — и в Европу, и на Восток, завязывали связи, налаживали книгообмен — Бартольд, Щербатской, Ольденбург, Самойлович, Алексеев... Почему отказывали Крачковскому? К государственному тайнам он как будто причастен не был. Может быть, мешало то, что он хотел ехать с женой? А вдруг останется там навсегда? Но ведь буквально только что (еще и пяти лет не прошло!) его собирались выслать за границу, а он усиленно протестовал против этого.

Ольденбург даже записку президенту Академии подавал — отказывался от должности Непременного секретаря в знак протеста против запрещения выезда за рубеж академику Крачковскому, «за которого я полностью ручался перед правительством» [А, оп. 2, № 224, л. 8]. Но от отставки его, очевидно, отговорили, а запрет остался — на всю жизнь... Впрочем, Крачковский больше и не пытался выехать.

Итак, та область арабистики, в которой Крачковский считался — на мировом уровне — общепризнанным лидером, то есть история новопарабской литературы, отныне если не закрыта была перед ним, то все время он должен был ощущать неполноту своей осведомленности в ней, определенную неуверенность: а вдруг какой-то существенный материал упущен?

Закрытой оказалась другая тема, быть может, самая любимая — христианско-арабская литература. Действительно, можно ли было ею заниматься в самый разгул антирелигиозной пропаганды?! Кому из коммунистических идеологов было дело до того, что эта литература — первоклассный материал для арабской диалектологии или для сравнительного литературоведения? Религиозная литература — и все тут.

«Христианский Восток», журнал с однозвучным названием, в котором Крачковский опубликовал столько интересных статей, прекратил свое существование в 1924 году. Том VII (за 1921 — 1924 гг.), собранный и отпечатанный, в свет уже не вышел. Сохранились лишь оттиски отдельных статей в нескольких десятках экземпляров, в том числе — описание рукописей из собрания патриарха Антиохийского Григория Хаддада, стоявшее Крачковскому, как мы помним, столько трудов.

В набросках осталась работа о путешествии Макария Антиохийского в Россию, для которой Крачковский собирал материал еще до войны. В архиве остались переводы апокрифов, быть может спасшие его в тяжелом 1919 году, и краткий, ныне уже устаревший, очерк христианско-арабской литературы. Так и не сделан был каталог христианско-арабских рукописей в собрании нашей страны, только краткий перечень их удалось напечатать в бейрутском журнале «аль-Машрик» в 1925 году.

Эта отрасль арабистики потом успешно развивалась немецким ученым Георгом Графом — тем самым, которого Крачковский так сурово критиковал в одной из своих первых рецензий.

Помочь здесь не мог никто, «и даже попытки исключительно боевой и энергичной натуры Н. Я. Марра сохранить эту линию оказались бесплодны. Здесь мы вышли из строя ко вреду для всей нашей науки, нашей страны» [А, оп. 2, № 62, л. 122].

Тот же «антирелигиозный пресс» задел, естественно, и работу в области мусульманской литературы: перевод Корана, начатый еще в 1921 году, был закончен летом 1928-го и тоже лег в стол мертвым грузом, не получив окончательной отделки. Опубликованный 35 лет спустя, этот перевод и в таком виде явился крупным событием в исламоведении, хотя обширный комментарий к нему так и остался нераскрытым, «свернутым». А если бы — тогда? И в тщательной авторской обработке, с развернутым комментарием?

Папка с выписками по Корану, да и приведенные выше дневниковые записи свидетельствуют о том, сколь продуманно Крачковский подошел к этой работе, как внимательно изучил он переводы своих европейских предшественников и критику их, как стремился избежать характерных для них ошибок. Особенно привлекла его критика переводов, данная А. Фишером [59]. Крачковский выписывает его замечания аккуратнейшим образом, причем по-русски, как своего рода памятку, в которой содержатся требования исходить, во-первых, из самого текста Корана, не скопывая себя догматическими схемами поздних комментаторов, однако учитывая их филологические толкования, а также все тонкости арабской грамматики, фразеологии и поэтики; во-вторых — обращать внимание на варианты текста и иметь в виду «проблематичный характер многих мест» и, в-третьих, не стремиться обязательно найти в Коране иудейские и христианские элементы, помня, что Мухаммед вырос в арабской языческой среде и должен был испытывать влияние ее обычаев, а также мотивов, форм и языка поэзии [А, оп. 1, № 203, л. 95].

Итоговую оценку всем европейским переводам до середины 20-х годов дает Т. В. Яйнболл (она тоже выписана Крачковским и тоже по-русски): «Ни один из переводов не сохраняет систематически традиционного, признаваемого у мусульман правоверным толкования текста, равно как, наоборот, никто из переводчиков не стремится защитить исключительно верный с историко-критической точки зрения смысл выражений Корана» [там же, л. 102].

Крачковский, несомненно, избрал для себя второй из указанных Яйнболлом путь. Иными словами, он и к Корану подошел как к литературному памятнику, созданному в определенную эпоху в определенной социальной среде, отразившему политическую и идеологическую обстановку своего времени и вобравшему в себя весь предшествующий эстетический опыт арабской культуры.

Если обратиться к менее однозвучной тематике — арабской поэзии и поэтике, — то и здесь дело останавливалось из-за слабых возможностей академической типографии по части воспроизведения арабского шрифта. Так, готовая еще перед революцией докторская

диссертация об Ибн аль-Мутаззе не могла быть напечатана (а значит, по старым добрым правилам и защищена), поскольку существенную ее часть составляло критическое издание текста «Китаб аль-бади». И таким сумрачным видится Крачковскому будущее его научных трудов, уже готовых и еще не написанных.

«О работах моих лучше и не спрашивайте, — пишет он Филоненко 12 ноября 1923 года, — не растревляйте моих ран. То, что написано, лежит безнадежно или потому, что печатать негде, или потому, что цензура не пропускает. Ей я обязан тем, что оказался зарезанным мой том в 20 листов о новоарабской литературе за период 1895—1915 гг., не пропущен перевод "Калилы и Димны" покойного Кузьмина под моей редакцией и т. д. В невыпущенном томе ЗВО пять моих статей сверстаны и подписаны к печати около трех лет, но увидят ли они свет — Бог весть. При таких условиях совсем нет энергии теперь работать над чем-либо крупным и поневоле ограничиваешься время от времени мелочами» [А, оп. 3, № 37, л. 57].

Попробуем проследить, однако, какие «мелочи» успел написать и опубликовать Крачковский за двадцатые годы, — и это помимо той большой преподавательской и организационной работы, о которой шла речь в предыдущей главе. Ведь совсем ничего не писать он не мог, постоянно выкраивал кусочки времени и писал — пусть в стол, иначе жизнь потеряла бы смысл.

Итак, сначала несколько цифр. По «Библиографии» Винникова [17] в период между 1920 и 1929 гг. Крачковским было написано 164 работы (из увидевших свет) и прочитано 80 докладов (из них около половины легли в основу печатных работ). Посмотрим, что же стоит за этими цифрами.

Часть работ этого времени уже упоминалась в одной из предыдущих глав — то, что связано со «Всемирной литературой» и «Востоком»: редактura переводов и собственные небольшие переводы, предисловия к ним, много мелких журнальных заметок, рецензий и небольших статей. Рецензий немало (всего более 30) было опубликовано и в других научных журналах — на издания самой разнообразной тематики: Крачковский по-прежнему неравнодушный и зоркий читатель. Сюда же примыкают отрывки из писем арабским писателям, опубликованные адресатами, и «Записки о научных трудах» тех или иных ученых, русских и зарубежных, составленные по академической обязанности, и академические отчеты о командировках. Написано и несколько предисловий к учебникам — не просто презентативных, а перерастающих в самостоятельные научные статьи, оттеняющие значение представляемой работы глубоким анализом всего, что было сделано ранее в этой области. В этом списке и пять статей христианско-арабской тематики в последних двух томах «Христианского Востока».

Очень много — не меньше, чем рецензий, — статей, посвященных отдельным памятникам, рукописям или какой-нибудь частной

проблеме, обычно небольших, на 2—5 страничек в «Докладах Академии наук» — те самые «мелочи», о которых он писал Филоненко. Значительный удельный вес их в это время понятен: велика загруженность организационными делами, и уйти от них хочется, и надолго — не получается, а рукописи, когда до них все-таки дорвешься, то и дело подсказывают какое-то интересное наблюдение, даже маленькое открытие (идентификация автора или сочинения) — тему для очередного небольшого доклада, который и напечатать-то потом легко — в «Докладах АН».

Среди статей этого плана есть и более крупные, с большими отрывками арабского текста, чаще всего посвященные уникам ленинградских собраний, в том числе «Неизвестное сочинение-автограф сирийского эмира Усамы» (1921—1925 гг.) и «Йусуф ал-Магриби и его словарь» (1925—1926 гг.), давшие толчок ряду работ русских и арабских исследователей следующего поколения.

Конечно, в таком обилии мелких публикаций за это десятилетие виновата и присущая ему «жадность к темам», о которой уже приходилось говорить в одной из предыдущих глав. И все же, все же... Впоследствии, окидывая взором свой творческий путь, он напишет: «Возможно, что если бы в 1917—1918 году мне удалось напечатать работу о поэтике Ибн ал-Мутазза в том виде, как она тогда была написана с мечтами о докторской диссертации, моя научная работа могла бы постепенно дисциплинироваться в сторону большей сосредоточенности» [А, оп. 2, № 62, л. 124].

Но, увы, так не получилось, а поскольку тема не давала покоя, Крачковский все возвращался к своему любимцу и, как бы выжидая момент, когда труд о нем можно отделать окончательно и напечатать в полном объеме, занялся другими его произведениями: издал в «Le Monde Oriental» принадлежащий Ибн аль-Мутаззу свод назидательных афоризмов («Китаб аль-адаб»), по рукописи Британского музея с привлечением других доступных ему материалов, и написал большую статью еще об одном своеобразном сочинении: «Категории сравнений о заре радости» («Фусул ат-тамасил фи табашир ас-сурур») — антологии, посвященной вину и искусству застолья. Венчает же подборку материала «вокруг» поэтики Ибн аль-Мутазза подробно аннотированный «Список сочинений» его, опубликованный по-французски в 1927 году.

Параллельно с обзором и характеристикой других трудов Ибн аль-Мутазза Крачковский продолжает углублять и расширять начатое им в исследовании 1917 года рассмотрение его поэтики в контексте прочих работ на эту тему, созданных арабскими учеными в IX веке, стараясь ответить на вопрос об оригинальности арабской системы поэтики и о возможных связях ее с греческой и индийской системами. В этой серии следует назвать небольшую статью «Фрагмент индийской риторики в арабской передаче» (1927) и «Риторику» Кудамы ибн Джафара (написано летом 1929 г.). Критическое издание «Риторики», которая, как впослед-

ствии стало известно, в действительности Кудама не принадлежит [см. 27, т. 6, с. 100], Крачковский готовил, на основе Эскуриальской рукописи, вместе с Эберманом³. В этом же ряду стоит и его неудавшаяся лекция в Упсале «Арабская поэтика в IX веке», напечатанная на немецком языке в «Oriente Moderno» пригласившим Крачковского К. Цеттерстеном.

Общий вывод И. Ю. Крачковского об оригинальности арабской поэтической системы [27, т. 2, с. 361—362] разделяется, хотя и с известными уточнениями, и современными учеными⁴.

Большое значение придавал сам Крачковский напечатанной в «Востоке» в 1924 году уже упомянутой большой статье «Арабская поэзия». На первый взгляд она кажется просто популярным обзором, да и выросла-то она из публичной лекции, прочитанной в Институте истории искусств⁵, где Крачковский в начале 20-х годов состоял профессором. Тем не менее эту лекцию в академическом отчете он упоминает особо как «первую в Европе попытку дать характеристику арабского поэтического творчества за все время его существования до наших дней на основании анализа стиля» [А, оп. 2, № 143, л. 3]. Иными словами, «Арабская поэзия» была связана по сути своей с его исследованиями в области арабской поэтики и продолжала начатое диссертацией об аль-Вава вовлечение арабской поэзии, по выражению А. Э. Шмидта, «в круг тех материалов, на которых должны быть построены общие законы эволюции поэтических форм», только теперь это делалось на более широкой основе и приводило к более общим и значительным выводам. Для него самого эта лекция была примечательна еще и тем, что выработанный им в процессе исследования диванов аль-Вава, Абу-ль-Атахи и других поэтов историко-литературный и эстетический подход к поэтическим памятникам привел его от анализа к синтезу, а это, я полагаю, было для Крачковского особенно важно и дорого. Поэтому с таким волнением он и просил в письме к Г. Л. Лозинскому (14 марта 1924 г.), посылая ему № 4 «Востока», высказать свое мнение именно об этой статье.

Отклики на «Арабскую поэзию» (в том числе и отзыв Лозинского) были весьма благожелательные, однако, мне представляется, что самой природы новаторства этой работы Крачковского ни один рецензент до конца не уловил. Ближе всех подошел к верной оценке ее Т. Менцель, который, рассматривая в своей статье об И. Ю. Крачковском последовательно монографию об аль-Вава и «Арабскую поэзию», особо остановился на том, как автор трактует вопросы метрики и поэтического стиля, исследуя различные этапы развития поэзии. Сюда бы добавить литературоведческое исследование Корана — какими бы красками заиграла картина литературы арабской древности и раннего ислама!

Среди работ, посвященных классической арабской литературе, особое место занимает статья — дань компаративистской тематике — о памфлете Абу-ль-Аля аль-Маарри «Послание о проше-

нии», напечатанная на немецком языке в журнале «Islamica» в 1925 году и имевшая в Европе достаточно широкий резонанс⁶ (полагаю, она и была опубликована не по-русски, чтобы М. Асин Паласиос, с которым он полемизировал, смог ее прочесть). В этой статье Крачковский убедительно доказал, что «Послание» Абу-ль-Аля, содержащее несомненные параллели к «Божественной комедии» Данте, «представляет не столько литературную обработку легенды о вознесении Мухаммеда (как утверждал Асин Паласиос. — А. Д.), сколько остроумнейшую пародию на традиционные мусульманские описания загробной жизни» [27, т. 2, с. 300].

По новоарабской тематике, несмотря на то что приток новых материалов был почти закрыт, тоже далеко еще не все возможно были исчерпаны. За это время Крачковским написано несколько монографических статей, впервые знакомящих читателя с такими неординарными фигурами, как переводчик гомеровской «Илиады» Сулейман аль-Бустани или переводчик басен Крылова Ризкаллах Хассун и др. Важное место занимают и работы обобщающего характера. Об одной из них — незаслуженно забытой статье в первом номере «Востока» — уже говорилось здесь достаточно подробно. Два варианта (немецкий и русский) статьи о литературе арабских эмигрантов в Америке, напечатанные в 1927 и 1928 годах, корнями своими восходят к предисловию для загубленного цензурой сборника переводов, подготовленного в рамках «Всемирной литературы». Чувствуется: Крачковскому не давали покоя любимые его сиромеи: в 1924 году он читает о них доклад в Клубе ученых, о них же должна была быть вторая из состоявшихся упсальских лекций (ее и опубликовал Цеттерстен в 1927 г. по-немецки).

Как общепризнанный лучший знаток новоарабской литературы Крачковский прославился после «Образцов новоарабской литературы» К. В. Оде-Васильевой под его редакцией и с его предисловием. Здесь тоже был свой более старый — десятилетней давности! — исток: публичные лекции, прочитанные летом 1918 года. Тогда они остались ненапечатанными, потому что в процессе подготовки к ним обнаружились несомненные пробелы, и Крачковский, думая о будущей поездке на Восток, без которой все «работы в этой области обречены на фрагментарность и случайность» [А, оп. 2, № 62, л. 135], решил повременить с публикацией.

В 1928 году, когда назрела необходимость составления хрестоматии по новой литературе для ЛИЖВЯ, притом имелась реальная возможность ее издать, оказалось, что его библиотека (включая немногочисленные новые поступления от арабских корреспондентов, с кем сохранились или завязались послевоенные связи, как, например, с семьей Теймуров), несмотря на все лакуны, в общем дает достаточно материала для такой книги. Тогда и был на основе старых лекций — разумеется, с некоторыми добавлениями — составлен гораздо более сжатый общий очерк.

Появление «Образцов» означало утверждение нового подхода к современной арабской литературе как к научной дисциплине. Хрестоматия отличалась очень продуманным подбором отрывков и законченных произведений, представляющих все прозаические жанры арабской литературы за последние полвека (разумеется, в пределах возможностей составителя и редактора), а предисловие, при всей популярности изложения, являло собой научное исследование, в котором каждый автор вводился в целостную и многообразную систему литературного развития арабского мира.

«Образцы» встретили широкий приветственный отклик в арабистической среде. Это была подлинно «книга года»: за очень короткий срок появилось более десятка рецензий на нее — у нас, в Европе, в арабских странах. Все были единодушны в оценке хрестоматии как первоклассного учебного пособия по современному арабскому языку и литературе, пособия уникального, «отвечающего давно назревшей потребности» [72, 1928, кн. 7, с. 197], «заполняющего огромную лауну в арабистической учебной литературе» [81, 1929, т. 21, с. 529]. Г. Кампфмейер [88, 1929, т. 11, с. 163] высказал пожелание, чтобы его коллеги во всех немецких университетах отныне использовали бы «Образцы» в преподавании.

Более того, книга, по оценкам специалистов, имела и серьезное научное значение: она впервые давала систематическое представление о современной арабской литературе, «о мощном культурном развитии арабов Египта, Сирии и Америки» [70, 1929, № 26—27, с. 414]. Кампфмейер, называя «Образцы» «лучшим непосредственным введением в новую арабскую литературу», утверждал, что это издание, наряду с «Очерками» Х. А. Р. Гибба, является вообще «поворотным пунктом» в ее изучении [88, с. 163].

Все рецензенты отмечали и «чрезвычайно интересное» (Цеттерстен) предисловие, «которым снабдил эти великолепные "Образцы" наш ученый друг, чье перо словно источает мед» [90, 1928, т. 6, с. 382]. Г. Кампфмейер счел предисловие Крачковского настолько важным, что в том же, 1928 году опубликовал его немецкий перевод, выполненный Г. фон Менде [80, т. 31, ч. 2, с. 180—199], а упомянутую выше статью в «Die Welt des Islams» озаглавил: «Игнатий Крачковский — ведущий исследователь новой арабской литературы» и снабдил ее портретом ученого. Рецензент же в «Журнале Арабской Академии в Дамаске» выражал сожаление по поводу того, что введение к «Образцам» написано на русском языке — хорошо было бы сопроводить его арабским переводом, ибо «в этом была бы великая польза для тех, кто на Востоке занимается арабской литературой» [86, 1928, т. 8, с. 445].

Банальная истина «лучшее враг хорошего» в который раз оказалась справедливой. Десять лет назад Крачковский постеснялся напечатать свои, как ему казалось, «фрагментарные и случайные» лекции, а теперь увидел, что напечатание тогдашнего очерка «даже в первоначальной редакции в то время представило бы не-

малую новизну для западной европейской науки» [А, оп. 2, № 62, л. 135] — ведь даже в 1928 году, даже «в значительно более сжатом виде», он оказался «неким событием для Европы» [там же].

Менее известная статья Крачковского, появившаяся в 1930 году в «Журнале Арабской Академии в Дамаске», — «Изучение новоарабской литературы, его современные методы и цели» [86, т. 10, с. 17—28]. Основной пафос этой статьи заключается в том, что подход к изучению новой литературы по своему научному уровню не должен отличаться от подхода к литературе классической. Автор разворачивает целую программу собирания самых разнообразных источников, имеющих отношение к арабским писателям XIX—XX веков, их систематизации, научного описания, составления словаря писателей по типу «Словаря русских писателей» С. А. Венгера или капитального свода К. Брокельмана. Указывает он и на необходимость научно-критических изданий произведений писателей нового времени, ибо «критическое издание является основанием для изучения всех вопросов, связанных с текстом автора» [с. 26]. Исследования же в области новой литературы должны, по его мнению, опираться на методы, которыми пользуются исследователи новых литератур Европы: прежде всего, изучение творчества писателя в тесной связи «со средой, из которой писатель вышел, изучение всего, что имеет отношение к обществу, в котором писатель живет, всех жизненных явлений, влиянию которых он подвергается, эпохи, в которую он действует» [с. 22]. Такой метод должен сочетаться «с методом изучения художественного образа», то есть с исследованием «формы сочетания, художественных приемов автора и его приемов воплощения своих мыслей и представлений» [там же].

Эта программа носила скорее идеальный, чем реальный характер, что понимал и сам Крачковский. Он признавал, что база для исследования новой литературы пока ничтожна, а сами исследования находятся, по сути дела, в зачаточном состоянии и не привлекают должного внимания арабистов ни в арабских странах, ни за их пределами. Самому же автору этой программы осуществить ее в полной мере было невозможно: отсутствие регулярной связи с арабскими странами не давало ему возможности систематически следить за развитием новой, живой литературы. Но заявить эту программу было необходимо.

И наконец, последней линии, истории арабистики, к которой его неуклонно влекло «моральное веление долга перед предшественниками в науке» [А, оп. 2, № 62, л. 137], он тоже отдал значительную дань в это десятилетие.

На первом месте стояли непосредственные учителя. Он писал о Тураеве, скончавшемся в 1920 году, издал кое-что из его трудов и, конечно, некоторые работы и документы В. Р. Розена [17, №№ 183, 184, 254, 261 и др.] — это благородное дело сопровождало его на протяжении всего творческого пути. Самым объем-

стым в этом ряду было завершение труда Розена, посвященного христианско-арабскому историку Яхье Антиохийскому (XI в.), которым Розен занимался еще в 80-х годах. Он подготовил тогда издание хроники по двум известным к тому времени рукописям и черновой перевод по одной из них. Теперь нужно было привлечь все вновь открытые за последнее время рукописи, появившиеся за эти годы печатные материалы и на этой основе заново подготовить текст к изданию и пересмотреть весь перевод, то есть фактически дать новый. Эту работу Крачковский делал вместе с византинистом А. А. Васильевым (1867—1953), причем, судя по переписке соавторов, львиная доля труда выпала Крачковскому. Три выпуска издания заняли около 500 страниц [17, №№ 176, 280].

Среди некрологов, юбилейных статей, материалов об отдельных любопытных фактах истории арабистики особенно выделяется статья, посвященная сорокалетию со дня смерти В. Ф. Гиргаса, к которому Крачковский испытывал особые чувства как к учителю, другу и соратнику Розена — это, кстати, в свое время побудило его взяться за указатели к Абу Ханифе. В этой статье Крачковский очень четко обрисовывает научные заслуги «тихого» Гиргаса, который был ему близок и как предшественник по части изучения сирийского разговорного языка, вообще — интереса к современному Востоку.

Работа о Гиргасе — образец уважительного умения нестандартно подойти к научной деятельности человека, чье имя, благодаря «Хрестоматии» и «Словарию», которыми до сих пор пользуются студенты, чаще всего только с этими пособиями и ассоциируется.

Собственно, к жанру истории науки в известной степени могут быть отнесены и его предисловия к учебным пособиям (к «Грамматике» Н. В. Юшманова, хрестоматиям Д. В. Семенова и К. В. Оде-Васильевой, более позднее — к словарю Х. К. Баранова), содержащие краткие критические обзоры того, что было сделано предшественниками в той или иной области арабистики, — очень характерная для Крачковского, старинного любителя и знатока библиографии, «обязательность необязательного».

Венчает это десятилетие творчества Крачковского одно из лучших его сочинений по истории арабистики, одна из четырех любимых им собственных работ* — книга «Шейх Тантави, профессор Санкт-Петербургского университета», вышедшая под грифом «Труды комиссии по истории знаний». У этой книги длинная биография, начало которой связано, как уже было упомянуто, с подготовкой к юбилейной дате — столетию Санкт-Петербургского университета и с описанием рукописей из коллекции Тантави. Постепенно, по пометам, поправкам, припискам, сделанным в них

* Помимо «Шейха Тантави» это работы об аль-Вава, Ибн аль-Мутаазе и Абу-ль-Аля [см. 28, с. 106].

рукой шейха, складывалась буквально мозаичная картина жизни арабского ученого, волею судьбы оказавшегося вдали от родины... Впрочем, лучше всего эту почти детективную историю поисков и находок, в духе Ираклия Андроникова, изложил сам Крачковский в книге «Над арабскими рукописями» (глава «От Каира до Волкова кладбища»). Мне хочется привести здесь только одну старую деловую запись в дневнике, сделанную 5 апреля 1917 года, то есть в те дни, когда он так увлеченно писал своего Ибн аль-Мутаазу: «С утра до двух копался в библиотеке, сначала с Ибн аль-Мутаазом, а потом с рукописями Тантави, среди которых просмотрел его сочинения. Может быть пригодится для биографии, которую в конце концов все же придется, верно, писать» [А, оп. 2, № 6, л. 94]. Читая это, можно подумать, что речь идет о порученной ему кем-то извне нелегкой обязанности, в данный момент как будто и нежелательной. А ведь это голос долга, заранее и неотвратимо подсказывающий ему, чем он займется рано или поздно.

Книга о Тантави переросла рамки чисто биографического труда: она содержит, кроме основной части, арабский текст «Автобиографии» шейха и обзор материалов для его биографии в рукописном хранилище университетской библиотеки, как бы открывая дверь в лабораторию автора и подсказывая пути дальнейшего исследования, но этой подсказкой, увы, до сих пор никто по-настоящему не воспользовался. И «Описание России» Тантави так до сих пор и не издано, хотя уже после смерти Крачковского некоторые арабисты брались за изучение этой рукописи.

Книга о шейхе Тантави удивительная. Она — про все: про то, как шло возрождение арабской литературы в XIX веке, и про судьбу человека, вырванного из привычной среды, сблизившегося с русской культурой и никогда уже не вернувшегося домой; она — про петербургский востоковедный круг и про взаимообогащение Востока и Запада, и она же — свидетельство кропотливой и увлеченной работы автора, по крупницам собравшего эту сложную картину, нигде не подчеркивая своей роли, но не скрывая своей любви к славному скромному шейху, духовных потомков которого, встреченных некогда на Востоке, он вспоминал с неизменной симпатией.

Мне кажется, эта книга не оценена по заслугам. Конечно, на нее было несколько рецензий, причем арабы, разумеется, ее всячески приветствовали. На Западе среди небольших заметок о ней выделяется одна, более обстоятельная, принадлежащая шведскому арабисту Г. Нюбергу [81, 1933, т. 24, с. 149—151]. Правда, и он касается не всех аспектов монографии. Его особенно заинтересовала роль Тантави в возрождении арабской литературы (несмотря на его отъезд из Египта!), показанная Крачковским, и на это он делает упор. Нюберг пленился и художественной стороной книги, он несколько раз подчеркивает, что она «читается с чрезвычайно живым интересом» [с. 149], что биография шейха изложена ав-

тором «в манере столь же привлекательной, сколь поучительной» [там же].

Соотечественники не удостоили труд Крачковского ни одной рецензии. Более того, сам И. Ю. дважды глухо упоминает о неблагоприятном ее приеме в нашей востоковедной среде [28, с. 106; А, оп. 2, № 62, л. 116]. Но поскольку ни печатных (которых, судя по всему, и не было), ни архивных свидетельств этому я пока не нашла, остается только надеяться, что когда-нибудь раскроется и эта маленькая тайна — кто же в те времена оказался гонителем почтенного египетского шейха и его автора.

Таким образом, несмотря на все помехи, Крачковским меньше чем за десять лет сделано столько, что хватило бы на целый коллектив арабистов. Да, собственно, он и заменял целый коллектив, ведь его соратники делали в науке первые шаги, их работы насчитывались единицами, да и старшие товарищи, как, например, Крымский, публиковали в те годы немного.

Думаю, при всем привычном недовольстве собой Крачковский, постоянно заботившийся о престиже русской науки, понимал и это обстоятельство, чем и объясняется, по-видимому, такое на первый взгляд странное для человека, славившегося своей скромностью, предложение, сделанное им на одном из заседаний кружка: составить библиографию его трудов.

Это задание должно было иметь огромное воспитательное значение как подведение итогов сделанному — по крайней мере, в Ленинграде — по всем основным линиям арабистики за последние четверть века (учитывая, что списки трудов Розена и Медникова были опубликованы), как стимул дальнейшей разработки этих основных линий, как способ ознакомления с различными изданиями, где могли публиковаться востоковедные труды и как практика библиографической работы. И как пример уважения к научному труду, своему и чужому, которое всегда было ему свойственно.

Рассказ о научной работе Крачковского я не случайно приостановила на год 1929-м: это — юбилейная дата, 25 лет научной деятельности, которую его ученики и коллеги не преминули отметить.

Торжество приурочили к очередному докладу Крачковского в Коллегии востоковедов, зная, что, если объявить ему об этом заранее, он попросту не явится. Поэтому поздравления были для него неожиданностью: «31 октября. Читал сегодня в Коллегии Востоковедов доклад о риторике Кудамы и нечаянно попал на собственный юбилей. Бартольд приветствовал и сообщил о посвящении мне т. V "Записок", содержание коего мне поднесли. Поднесли ряд телеграмм и писем» [А, оп. 2, № 6, л. 327]. О том же в письме Филоненко: «Хорошо, что дело обошлось без торжественности и речей, а то я бы совсем погиб. Поднесли очень хороший бювар с перечнем участников предполагаемого тома, что тоже было для меня неожиданностью, но уже приятной» [3 нояб. 1929 г.; А, оп. 3, № 37, л. 134].

Это был последний том «Записок Коллегии востоковедов». Он вышел в 1930 году с портретом юбиляра и посвящением ему; участвовали в нем и старшие коллеги (Бартольд, Ольденбург, Розенберг, Шмидт, Марр), и сверстники (Бертельс, Владимирцов, Гордлевский, Гинцбург, Филоненко, Фрейман и др.), и ученики — преимущественно кружковцы; часть статей прислана была из других городов. На фотографии той — словно в радостный юбилейный день снята! — он веселый, с лучистыми глазами... Как ни трудно, а сумел же он их сплотить и научить чему-то! Вот и луч радости в черные дни академической «чистки»...

Пришли к юбилею и письменные приветствия — от востоковедов и невостоковедов. В частности, В. Ф. Шишмарев поздравляет его и как ученого, чьи работы «благодаря постановке вопроса или теме» интересны и западникам, и многозначительно добавляет: «Приветствую Вас также и как Человека, которого всегда ценил с моральной стороны. В наши трудные времена эти мысли как-то особенно приходят на ум по поводу таких итогов, как Ваше 25-летие» [А, оп. 2, № 34, л. 33]. Маленькая деталь: на все письменные поздравления Крачковский ответил письменно же: на каждом письме или телеграмме карандашом помета его рукой с датой, указывающей, когда им послана благодарность за поздравление.

Особенно полно и глубоко оценил тогда значение всей его деятельности для отечественной арабистики первый его учитель, ближайший из старших товарищей А. Э. Шмидт. Я и закончу этот раздел большим отрывком из его письма, еще раз подтверждающего, что дело Розена нашло достойного преемника:

«Вы, при всей Вашей скромности, конечно сами знаете цену себе и тому, что Вы сделали для арабистики вообще, а тем паче для русской арабистики. Мне кажется, и я думаю, что не ошибаюсь, что Вы в этом последнем отношении сделали больше, чем кто-либо другой. Я не хочу умалять заслуг Ваших предшественников, Гиргаса, Розена и Медникова: Вы сами подробно вдумывались в их работу и дали ей оценку, которой я несколько не оспариваю, но все же окончательно и по-настоящему наша русская арабистика выплыла из родного порта в широкое море мировой науки только благодаря Вашим трудам. Это оценили, как Вы сами знаете, и за рубежом. Вот почему я в сегодняшний торжественный день только и могу сказать: как счастливы мы, что Вам за эти 25 лет, несмотря на многие отягчавшие работу условия, все же удалось работать, удалось двинуть вперед многие отрасли Вашей родной специальности. Вам удалось сделать то, чего не удалось покойному Виктору Романовичу, которому пришлось брать на свое попечение не только русскую арабистику, но и русскую ориенталистику в целом. Вы обросли кружком молодых научных сил, которые, надо надеяться, смогут все вместе продолжать Ваше дело...

Мои личные к Вам чувства Вам, конечно, хорошо известны, а потому Вы и поймете, почему и как меня радует то, что именно

Вас, дорогой мой, мы имеем право чествовать в этот день, и как искренно я желаю, чтобы силы, здоровье и всякие другие привходящие обстоятельства позволили Вам продолжать Вашу научную работу, результатами которой мы гордимся и имеем право гордиться перед лицом всего ученого мира» [А, оп. 2, № 34, л. 7—8].

А ведь Шмидт — старший ученик Розена, был близок к нему. Ревности же или зависти к успехам младшего — никакой.

АЛЬ-МААРРИ, ИБН АЛЬ-МУТАЗЗ И ДИВАСТИ

Дневниковые записи, которые с середины 20-х годов становились все более скудными, в ноябре 1930 года прекращаются совсем. Можно было бы подумать, что это — из осторожности, но, будь Крачковский действительно осторожен, вряд ли сохранял бы он всю жизнь свой дневник 1917—1919 годов, бумаги репрессированных учеников и коллег, да просто письма друзей, содержавшие порой такие высказывания, что любого из них хватило бы для обвинения по 58-й статье. Чего стоят, например, слова В. И. Филоненко в письме от 1 ноября 1921 года: «Характерный признак нашего времени — это и есть ложь, колоссальнейшая ложь! Ею только, как это и ни странно, все и держится» [А, оп. 3, № 922, л. 45]. Думаю, ближе к истине то объяснение, которое дает он сам в одной из последних записей: «Перерывы у меня в дневнике систематически колоссальные, но по вине не моей, а моего настроения, кое систематически гнусно» [25 июля 1930 г.; А, оп. 2, № 6, л. 328].

Это написано вскоре после ареста Эбермана, роспуска кружка, в момент полной неясности относительно судеб арабистики и в Академии, и в Университете. Впрочем, и после прояснения, когда стало видно, что не все еще потеряно, поводов для скверного настроения хватало.

Правда, в научном отношении предвоенное десятилетие не было для Крачковского беднее результатами, чем двадцатые годы, скорее даже — наоборот. Конечно, он по-прежнему мог жаловаться на мелкотемье, но оно стало неизбежным и объяснялось не только объективными причинами, как можно было бы предположить. В самом деле, мог ли он отказаться от устойчивой привычки откликаться рецензией на каждую заинтересовавшую его востоковедную публикацию, по поводу которой ему было что сказать. И следовало ли ему упрекать себя за также вошедшие в традицию короткие публикации, знакомящие арабистов с жемчужинами ленинградских рукописных собраний [17, №№ 274, 309, 327 и т. д.], или за небольшие статьи, посвященные, казалось бы, частным фактам классической или новой арабской литературы, которые так явственно связывались с глобальными проблемами взаимодействия арабской и персидской [17, № 271] или арабо-христианской и арабо-мусульманской культуры (хоть какие-то нюансы та-

кой любимой прежде темы!) [17, №№ 283, 301, 302, 335, 338], традиций и новаторства в современной арабской литературе и критике [17, №№ 278, 372], русско-арабских литературных отношений [17, №№ 279, 369]. Или статьи, продолжавшие линию компаративистских штудий [№№ 304, 354, 361], начатую еще некоторыми ранними христианско-арабскими статьями и диссертацией об аль-Вава. Нельзя было отказаться и от статей для Энциклопедии ислама — участие в ней, помимо всего прочего, представлялось престижным для русской науки. А — увы! — некрологи, не парадно-стандартные элегии, но, как прежде, продуманные оценки с точки зрения истории науки. Тридцатые годы — время ухода учителей и старших товарищей — В. В. Бартольда, С. Ф. Ольденбурга, Ф. А. Розенберга, Н. Я. Марра, и старшего поколения европейских востоковедов — Т. Нельдеке, Г. Гофмана, И. Гвиди. Все эти статьи ложились отдельными кирпичиками в тщательно возводимое здание истории востоковедения, а к ним присоединялись разыскания из более отдаленного прошлого [17, №№ 337, 378].

Среди этого достаточно разнообразного репертуара работ следует отметить две, носящие обобщающий характер. Это, во-первых, большая статья, заказанная для дополнительного тома Энциклопедии ислама, — «Новоарабская литература» (1934; расширенный русский вариант — 1935). Не меняя концепции, лежащей в основе нашедшего в 1928 году предисловия к «Образцам», здесь Крачковский охватывал материал гораздо шире, однако, как и положено в энциклопедической статье общего плана, не давал индивидуальных характеристик. Зато статья была максимально насыщена конкретной информацией обо всех жанрах новой литературы Египта, Сирии, Ливана и Ирака. Так автором единственного в своем роде очерка новоарабской литературы снова оказался ученый, которому, не в пример многим его европейским коллегам, дорога в арабские страны была закрыта.

Вторая итоговая статья — очевидно, также заказная, была написана к двадцатилетию Октябрьской революции и содержала обзор советской арабистики за 20 лет. В несколько отличном варианте эта статья четырьмя годами позже была опубликована еще раз в «Трудах второй сессии Ассоциации арабистов»; о ней речь пойдет в следующей главе.

Крачковский по-прежнему считал для себя обязательным откликаться на «всякие новые явления» и запросы самой разнообразной тематики, «на которые надо было отвечать, иногда впервые подойти к ним» [А, оп. 2, № 62, л. 142]. Правда, пожалуй, не только долг его заставлял — жива была все та же прежняя жадность к темам. Он сам признался в этом на своем следующем, тридцатилетнем, юбилее: «Уж если мне попало что-нибудь, то я совсем перестаю спать и оно меня мучает и я должен докопаться» [ответная речь на юбилейном торжестве 16 июня 1935 г. в записи М. И. Виленчик; А, оп. 2, № 38, л. 13].

И он всегда с честью выходил из самых трудных положений, как, например, было с определением подлинности и дешифровкой бронзовых табличек из Йемена с текстом на сабейском (южноарабском) языке [17, № 277], которым он чуть-чуть занимался когда-то давно, готовясь к магистерскому экзамену. Задача была нелегка. «Они надолго испортили мне жизнь, — вспоминал он на том же тридцатилетнем юбилее, — так как сначала я на них глядел, как баран на новые ворота, но теперь и заграница согласилась с моим толкованием» [А, оп. 2, № 38, л. 13 об.].

Гордость (не за себя — за отечественную науку) никогда не позволяла ему сказать: «Нет, не знаю» — и переложить задачу на кого-нибудь из заграничных специалистов, а честь ученого заставляла подойти к решению вопроса с максимальной добросовестностью, используя все материалы и пособия, и только решая задачу самостоятельно, он мог обратиться за консультацией к какому-либо знатоку.

Из начатых тогда же трудоемких дел — «чужих», по от которых нельзя отказаться, — следует упомянуть редактуру арабско-русского словаря, составленного московским арабистом Х. К. Барановым. Но об этой работе, растянувшейся по вине издательства на долгие годы и сопряженной с большими трудностями, лучше рассказать потом.

Он корил себя за постоянное «разбрасывание». «Я арабист-дилетант, — заявил он все на том же тридцатилетнем юбилее, — я пошел вширь, а не вглубь... Я не советую моим ученикам так делать, как я, то есть разбрасываться и подходить несколько спешно к некоторым вопросам. Я не знаю, в чем именно могу считать себя специалистом, но теперь я себя сдерживаю и направляю» [А, оп. 2, № 38, л. 13 об., 15 об.—16].

Но ничего поделать он с собой не мог — «по мягкости характера» [там же, л. 10]. Он, как и прежде, с готовностью наводил справки для здешних и зарубежных коллег, читал чужие корректуры — иногда с большим для себя интересом. Но пока речь шла все же об ориенталистических работах. К сожалению, слишком часто приходилось отдавать много времени на запросы отнюдь не арабистические, но связанные тем не менее с арабскими материалами. «Пестрота их иногда меня подавляла, — вспоминал он впоследствии, — здесь фигурировала и математика, и химия, и медицина, и ботаника, и фармакогнозия, и пчеловодство, и скотоводство, и вообще все области человеческого знания. Ответы на все это требовали напряженного внимания и усилий; почти никогда они не находили отражения в списке моих собственных работ. Иногда такое участие не поминалось у нас впоследствии и в тех работах, которые были основаны на сообщенных материалах, а часто мои коллеги не считали нужным даже сообщить о получении моих справок» [А, оп. 2, № 62, л. 142].

Вся эта деятельность в основном протекала в том же русле, что и в предшествующее десятилетие. И если двадцатые годы завершились изданием одной из тех немногих работ, которые сам Крачковский считал любимейшими, «достойными памяти в науке» [28, с. 106]⁷ — я имею в виду книгу о шейхе Тантави, — то на тридцатые годы приходится публикация еще двух работ из этой серии «любимейших».

Первая из них — критическое издание текста, перевод и исследование «Послания об ангелах» Абу-ль-Аля аль-Маарри [17, № 281]. Двадцать два года прошло с тех пор, как в библиотеке аль-Азхара он с замирающим сердцем торопливо вчитывался в малограмотные строки позднего переписчика. Далее — мы помним, — после получения копии с азхарской рукописи при содействии Селима Кубайна было сличение этого текста с более старой Лейденской рукописью, а потом, при возвращении на родину, во время войны — неизбежность оставления всех материалов у одного из голландских друзей.

Материалы Крачковского вернулись в Россию только через девять лет, а за эти годы в Каире появилось издание «Послания» — по той самой азхарской рукописи; возможно, появление его и было спровоцировано находкой Крачковского. К этому времени выяснилось, что еще одна рукопись «Ангелов» есть в собрании известного египетского ученого Ахмеда Теймура, с которым у Крачковского завязалась оживленная переписка — обсуждение «разных вариантов, конъектур, намеков» [28, с. 26]. Он торопился: стало известно, что «Послание об ангелах» собирается издать кто-то из европейских ученых.

К осени 1926 года работа над текстом — по трем рукописям и хайдарабадскому изданию египетского автора XV века ас-Суйути, включившего полностью текст Абу-ль-Аля в одно из своих сочинений, — была завершена. Особенно плодотворным оказалось в этом отношении лето, проведенное на Кавказском побережье, после того как сорвалась поездка на Восток. Комментарий и исследование двигались медленнее: «Работаешь урывками, а потому плохо идет» [дневник, 8 нояб. 1926 г.; А, оп. 2, № 6, л. 320 об.].

Весной 1927 года возникло новое осложнение, заставившее на время отложить окончание работы, — пришло известие о том, что один индийский профессор-арабист подготовил большой труд, посвященный Абу-ль-Аля, и в приложении к нему будет помещено новое издание «Послания об ангелах». Очевидно, нашлась еще одна рукопись? И снова ожидание и неуверенность.

Тем не менее 26 января 1928 года на заседании Коллегии востоковедов, посвященном 20-й годовщине со дня смерти В. Р. Розена, еще до получения индийского издания, Крачковский читает доклад о «Послании» — без особой уверенности, что работа над ним будет скоро завершена: «Читал сегодня в Коллегии востоковедов в памятное бароновское заседание о "Послании об ангелах" Абу-ль-

Аля. Надумаю ли я когда-нибудь его напечатать?» [там же, л. 324 об.].

Книга дошла до него только зимой 1929/30 года. В ней действительно содержался текст Абу-ль-Аля, но... без указания источника! Сличение текстов показало, что индийский исследователь использовал, очевидно, только версию ас-Суйути по хайдарабадскому изданию — таким образом, его труд сколько-нибудь существенных изменений в работу не вносил, и в ней наконец можно было поставить точку. 19 июня 1930 года Крачковский прочел в своем кружке доклад «Место "Послания об ангелах" в литературном творчестве Абу-ль-Аля», а 1 октября состоялось более ответственное представление законченного труда — в заседании Отделения общественных наук АН. Выступление здесь было построено несколько по-другому и озаглавлено «Одна из параллелей к "Божественной комедии" Данте в арабской литературе». На этом заседании и было постановлено монографию Крачковского (разумеется, с полным арабским текстом) напечатать, и приблизительно через полтора года она увидела свет.

Впоследствии сам Крачковский оценивал уровень подготовки этого памятника достаточно высоко: «Издание текста и перевод "Послания об ангелах" мною отделаны очень старательно и детально; я не думаю, что в них можно внести много поправок» [А, оп. 2, № 62, л. 123]. Что же касается его ближайших коллег — быть может, ожидавших под влиянием его докладов какой-нибудь хлесткой сенсации в тексте, — то они, очевидно, не поняли изящно-ученой иронии арабского автора и были разочарованы.

«Рад, что Вам понравилось "Рисалат ал-Малаика", — писал Крачковский В. И. Филоненко 27 августа 1932 года, — прочие мои коллеги (за исключением, конечно, зарубежных) находят его малопонятным и удивляются, как я мог на него потратить двадцать лет. Крымский тот все спрашивал, неужели я не мог выпустить его десять лет назад. Я на это мог ему только сказать, что тогда у меня было в десять раз больше непонятных мест. Одним словом, история нас рассудит» [А, оп. 3, № 37, л. 173].

Правда, на «Послание» весьма благосклонно откликнулся журнал «Антирелигиозник» (1932, № 15—16, с. 58—59), приветствовавший Абу-ль-Аля как «убежденного атеиста» (с. 59), а Крачковского — как человека, впервые открывшего этот памятник еще в 1910 году и давшего теперь его «подлинно научное издание» (с. 58).

Асин Паласиос, с которым Крачковский полемизировал в свое время по поводу «Послания о прощении» того же Абу-ль-Аля, в краткой библиографической заметке о книге, напечатанной в № 1 испанского востоковедного журнала «аль-Андалус», с удовлетворением подтвердил, соглашаясь с Крачковским, сходство и этого произведения Абу-ль-Аля с «Божественной комедией» Данте.

Но особенно дорога была для Крачковского благодарность ливанца Амина Рейхани, публициста, поэта, ученого из сироамериканцев, лукаво стилизовавшего свое письмо под «Послания» самого Абу-ль-Аля: «Мне точно видится аль-Маарри Абу-ль-Аля; он узнал про его истлевшее произведение, которое Вы оживили, и вот говорит он скромно: "Не думали мы, клянемся Аллахом, что оно превзойдет наш возраст!.. Мы не воображали, что его коснется горячее дыхание с севера, хотя бы и через тысячу лет, и вдохнет в него земную жизнь, так что оно заговорит вторично, людской речью на языке арабов, с перлами русского языка в промежутках. Да оживит тебя Аллах, мой почтенный русский брат! "Послание об ангелах" падает на колени перед тобой и целует землю..."» [28, с. 41].

«Это было для меня лучшей наградой, — комментировал письмо Крачковский, — я увидел, что в жизни, как и в науке, нашлось достойное место для сочинения, над которым работал двадцать лет и с которым сжился, как с родным» [там же, с. 26].

Но — ирония судьбы! — все-таки и он не до конца уловил замысел автора: видя, во время подготовки текста и перевода «Послания», какие-то непонятные ему соотношения и намеки, он «не проследил их до конца и не додумался до того, что это лишь предисловие к большому грамматическому трактату Абу-ль-Аля, как выяснилось через много лет во время его юбилея, когда впервые нашлась новая полная рукопись» [А, оп. 2, № 62, л. 123], которая потом, в 1944 году, была издана в Дамаске.

Прошло еще сорок лет — и одна из последних студенток Крачковского подготовила первую полную русскую монографию об Абу-ль-Аля, где «Посланию об ангелах» была посвящена отдельная большая глава [53].

В 1935 году увидела свет другая давно начатая работа — часть не состоявшейся докторской диссертации, фрагмент «широко и серьезно обдуманного плана» [А, оп. 2, № 62, л. 123], который не удалось осуществить полностью по вполне понятным обстоятельствам. Отдельные — к сожалению, преимущественно побочные — разделы исследования, как уже говорилось, были опубликованы в виде статей, для главного же — большого и сложного, с многими огласованными поэтическими вставками текста «Китаб аль-бади», который должен был составить «надежную базу для всей истории арабской поэтики» [там же], — наша арабистика не располагала достаточными печатными средствами. Естественно, издавать перевод и исследование без текста не имело смысла, и эти части работы, лежавшие мертвым грузом, постепенно устаревали.

Когда же представилась возможность опубликовать текст поэтики с помощью Гиббовского фонда⁸, обладавшего великолепной полиграфической базой, Крачковский решил ограничиться «необходимыми критическими материалами и главами, относящимися непосредственно к "Китаб аль-бади"» [27, т. 6, с. 102]. Что же ка-

сается русского перевода и более полного исследования, нуждавшегося в пересмотре с учетом нового материала, то, как было сказано в предисловии, он еще надеялся опубликовать их «с течением времени».

Увы, надежды не сбылись. Эти части работы увидели свет уже после смерти автора, в 6-м томе его «Избранных сочинений». Без дополнений, в том виде, как они сохранились в архиве Крачковского. К сожалению, ни составитель тома (автор этих строк), ни редактор — старший ученик Крачковского В. И. Беляев, ныне покойный, — не догадались при подготовке издания сверить перевод с окончательным текстом памятника и отметить в примечаниях все (правда, немногие) расхождения, ибо некоторые места перевода явно отражают первоначальное, впоследствии Крачковским отвергнутое прочтение соответствующих мест в тексте. Но мы обнаружили это, когда том уже вышел из печати.

Издание, появившееся в широко известной в Европе серии (причем вся исследовательская часть, комментариев и аппарат были, естественно, на английском языке), не прошло бесследно, вызвав две обстоятельные рецензии — Ф. Кренкоу и М. Гвиди и заметку Таха Хусейна; в советской же ориенталистике эта одна из важнейших работ Крачковского получила отклик совершенно неожиданный, имеющий мало отношения к подлинной ее научной оценке... но об этом позже.

Неудивительно, что во второй половине 30-х годов в творчестве И. Ю. Крачковского зазвучала тема Испании — это был своего рода «социальный заказ» или, вернее, горячий отклик на то, что тогда волновало всех. Но «заказ» этот мог быть выполнен именно потому, что он явно отвечал интересам и склонностям самого Крачковского — достаточно вспомнить, как пристально он следил всегда за работами испанских арабистов, какой интерес вызвала у него арабо-андалусская теория происхождения провансальской лирики [см., напр., 17, №№ 116, 120, 230, 264, 306, 309, 327 и особенно № 268].

Из трех его «испанских» работ этих лет две носили скорее популярный характер («Арабская культура в Испании»; «Арабская поэзия в Испании»), но при этом, как в свое время «Арабской поэзии», им был свойственен профессионализм высокого класса.

Необходимо сказать и об одном новом направлении научной деятельности Крачковского, в известной степени компенсирующем погибшую для него христианско-арабскую тематику и невозможность по-настоящему заняться новой литературой, — изучение арабских источников для истории народов СССР и Восточной Европы. Собственно, тему эту новой не назовешь: наоборот, она была традиционной для русской арабистики начиная с Х. Френа, да и сам Крачковский в предыдущих работах нередко затрагивал ее, прямо или косвенно. Теперь же она обрела новые контуры большой коллективной работы: на весенней сессии 1930 года АН исто-

рическая группа ОГН подняла вопрос о желательности подготовки свода арабских известий относительно Восточной Европы, Средней Азии и Кавказа, с привлечением ученых из других союзных республик. Руководить этой работой, как предполагалось, должен был академик В. В. Бартольд, взявший на себя составление особой записки, которую собирался представить в отделение осенью того же года. Но 19 августа Бартольда не стало, никаких набросков соответствующего содержания в его бумагах не обнаружили, и составить записку было поручено И. Ю. Крачковскому.

27 ноября 1930 года Крачковский выступил в ООН АН с программным докладом «О подготовке свода арабских источников для истории Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии»; доклад встречен был весьма одобрительно.

Начал Крачковский с обзора всего сделанного по этой теме в XIX—XX вв. в арабистике отечественной и европейской (он верен себе — не пытается изобрести велосипед или позаимствовать из чужого богатства) и того, что делается ныне в республиках и за рубежом. Переходя непосредственно к программе работ, он предлагает ограничить географические рамки привлекаемого материала Восточной Европой (включая северных и западных соседей), ибо «относительно Средней Азии и Кавказа работа частью намечена, частью производится» [27, т. 1, с. 154]. Жанры же используемых произведений могут быть самые разнообразные, и наряду с арабскими источниками следует привлекать источники персидские.

Желая, чтобы все шло организованным порядком, Крачковский предлагает сначала план подготовительных работ, по которому видно, как широко задумывалось дело: «1) составить критико-библиографическую сводку всей научной литературы (русской и иностранной), где привлечены арабские источники, которые имеют отношение к Восточной Европе, 2) составить именную картотеку тех арабских писателей, сведения которых полностью или частично подвергались анализу или переводу в предшествующей литературе; по окончании этой работы, отчасти в ходе ее, можно будет 3) установить фиксированный список тех авторов, которые должны войти в издание, по возможности с точным определением материала в каждом отдельном случае, и 4) выработать детальные принципы перевода и техники издания» [там же, с. 156].

Предлагавшийся Крачковским свод в полном объеме осуществлен не был — слишком грандиозным оказался план. Но над отдельными наиболее важными памятниками работа велась, и сам Крачковский отдал ей дань, опубликовав, в частности, целую серию статей об арабской письменности на Северном Кавказе (главным образом о документах, связанных с деятельностью Шамиля).

Совершенно ясно, что рано или поздно он должен был к этой теме обратиться, тем более что вкус к источникам у него был всегда. Да и не он ли некогда ввел в университетское преподавание чтение средневековой арабской географической литературы как

самостоятельный курс? Источники по истории народов нашей страны — это вечная тема, она актуальна всегда, при любом режиме власти, «сверху» ее закрывать не будут, а материалов для нее хватит и в Союзе. Не знаю, принимал ли тогда во внимание Крачковский и эти соображения, но факт тот, что в важности темы самой по себе он никогда не сомневался, да и люди, которые вместе с ним могли заняться ею, уже стали появляться среди его учеников.

Как говорится, на ловца и зверь бежит — этой пословицей озаглавил сам Крачковский один из разделов книги «Над арабскими рукописями», в которой речь идет о неожиданных открытиях, выпавших на его долю. Может быть, самое яркое среди них как раз и было связано с источниковедением, причем пришлось оно как раз на первую половину тридцатых годов, как бы подтверждая наглядно важность выдвинутой темы.

В 1932—1933 годах в Таджикистане, в замке на горе Муг, на южном берегу Зеравшана, где до арабского завоевания располагалось цветущее Согдийское государство, было найдено множество документов на местном, согдийском языке, целый архив. Язык их — один из древних иранских языков — давал возможность предполагать, что документы эти не моложе начала VIII века, когда, с приходом арабов, все делопроизводство было переведено на язык завоевателей.

Экспедицию в Таджикистан за вновь найденными документами — первыми памятниками согдийской письменности, происходящими с территории самой Согдианы, — возглавил коллега Крачковского по Университету и Академии профессор-иранист А. А. Фрейман, которому принадлежит честь первой описи и дешифровки этих документов, открывших «новый этап в развитии согдологии» [7, с. 322].

Еще до возвращения Фреймана в Ленинград от него пришло сообщение о находке среди мугских материалов и одного арабского документа, написанного на коже (что само по себе являлось редкостью). По слухам, он содержал имя известного согдийского правителя — Тархун. Сначала Крачковский отнесся к этому слуху скептически (наверное, листок Корана на пергаменте и, разумеется, без всякого Тархуна!). Однако, как только после преодоления различных ведомственных рогаток в январе 1934 года мугский архив привезли в Ленинград, он, несмотря на болезнь, тут же отправился в Рукописный отдел БАН, куда были помещены документы и где над их дешифровкой работал Фрейман, и... действительность превзошла все ожидания: на сморщенном, изъеденном червями кусочке кожи было письмо на арабском языке, которое, с помощью Веры Александровны, ставшей к тому времени весьма опытным палеографом, удалось дешифровать! Более того, имена собственные, встречающиеся в письме, позволили датировать его сотым годом хиджры (718—719 г. н. э.), а содержание письма,

имя его автора и время написания дали надежный ключ для понимания остальных — согдийских — документов.

Эмоциональная сторона события нашла яркое отражение в книге «Над арабскими рукописями»; текст, перевод и исследование содержатся в статье «Древнейший арабский документ из Средней Азии», написанной в соавторстве с В. А. Крачковской [27, т. 1, с. 182—212]. Эта работа, которую высоко оценили ученые и на Востоке, и на Западе, и у нас [17, № 312], — образец не только виртуозного прочтения плохо сохранившегося текста, но и безупречной его исторической интерпретации. Здесь прочно соединились знания и навыки бартольдovской школы с интуицией ученого. Обычная для начала письма формула подсказала, где должно находиться имя адресанта, интуиция — правильное чтение его — Дивасти (а написано оно было несколько необычно: Дива-сти, с переносом на другую строку). Имя было найдено в классическом арабском историческом своде ат-Табари (и снова интуиция подсказала, что там оно могло быть написано по-другому: Дивашни, ибо ошибка в диакритических точках для арабских рукописей не редкость). Определение же остальных имен все поставило на свои места, и читателю приоткрылась печальная картина последних дней правления Дивасти, владельца замка на горе Муг, пытавшегося сопротивляться арабам.

А читая в книге «Над арабскими рукописями» о письме из Согдианы, с трудом представляешь себе, как всегда внешне сдержанный Крачковский, уже немолодой (ему ведь пятьдесят!), словно мальчишка, забыв о болезни, мчится по лестнице на восьмой этаж, чтобы посмотреть указатель к Табари, а потом вихрем врывается в рукописное отделение и без сил опускается на стул с возгласом «Дивасти нашелся!».

Но ведь такое выпадает, наверное, только раз в жизни. Да и то не каждому...

НАСЛЕДНИЦА «ВЛ»

После печального конца «Всемирной литературы» и «Востока» затишье в деле перевода с восточных языков наступило ненадолго. Уже в начале января 1927 года заведующий издательством «Academia» А. Кроленко в связи с подготовкой к изданию серии «Сокровища мировой литературы» пригласил И. Ю. Крачковского на заседание редакционной коллегии весьма любезным письмом, в котором говорилось о давнем желании издательства привлечь его к работе и спрашивалось его мнение относительно возможности издания полного русского перевода «1001 ночи».

Судя по всему, Крачковский на приглашение откликнулся и к проекту издания «1001 ночи» отнесся с энтузиазмом, ибо уже в 1929 году вышел первый том, содержащий начальные 38 ночей в

перевод М. А. Салье. Трудно сказать с полной определенностью, почему от перевода «1001 ночи» отошел В. А. Эберман, который ведь в свое время начал эту работу для «Всемирной литературы». Это тем более обидно, что, как мне представляется, его перевод⁹ в художественном отношении стоит выше перевода Салье, особенно по части стихов и рифмованной прозы. Причиной могла быть большая загруженность Эбермана в это время: он работал в Университете, в Азиатском музее и ГАИМК, а научные его занятия все больше и больше сосредотачивались в области арабской поэзии. Что же касается Салье, то он в конце 20-х годов был аспирантом ИЛЯЗВ им. А. Н. Веселовского и занимался как раз «различными вопросами», связанными с историей «1001 ночи» «в их много-различных разветвлениях» [отзыв И. Ю. Крачковского от 7 мая 1928 г.; А, оп. 1, № 414, л. 1], — а может быть, он как раз и стал заниматься историей «1001 ночи» потому, что ему был поручен перевод. Кстати, судя по протоколам «Всемирной литературы» и дневниковым записям Крачковского, относящимся к тому времени, Салье как переводчик был весьма активен и работал быстро, в то время как Эберман, наоборот, всегда несколько затягивал работу.

На подготовку и издание полного перевода «1001 ночи» ушло двенадцать лет. Все восемь томов, последний из которых вышел в 1939 году, были проредактированы И. Ю. Крачковским, при этом перевод сверялся с текстом самым тщательным образом. Судя по письму к В. И. Филоненко от 29.VIII.1939 г., Крачковский имел на это серьезные основания [А, оп. 3, № 37, л. 196 об.]. Как он вспоминал впоследствии, редакция «1001 ночи» отнимала у него в течение всех двенадцати лет не менее 50% всего рабочего времени [А, оп. 2, № 62, л. 143].

Перевод, по словам И. Ю. Крачковского, был «задуман на серьезной научной основе и стоит на границе с историко-литературным исследованием» [отзыв о научных работах М. А. Салье от 14 окт. 1935 г.; А, оп. 1, № 414, л. 4]. Он был выполнен в том же ключе, что и прежние работы Салье для «Всемирной литературы», то есть с максимальным приближением строя русского текста к строю арабского, порой даже с излишними буквализмами. Здесь была определенная система, но Крачковский, который, в общем, обычно сам ее придерживался, интуитивно ощущал все же ее несовершенство — по крайней мере, по отношению к этому памятнику. «Перевод меня удовлетворяет не вполне, — признавался он Филоненко в письме от 5.I.1930 г., — он точен и добросовестен, но для выработки настоящего художественного стиля нужно было бы работать годами» [А, оп. 3, № 37, л. 141].

Тем не менее книга расходилась хорошо, чему способствовало прекрасное — в стиле персидских миниатюр — художественное оформление талантливого Н. А. Ушина, которое Крачковский в том же письме оценивает очень высоко. Да и все издание в целом, подводя итоги в конце жизни, он назвал (наряду с арабско-рус-

ским словарем), «одним из крупнейших памятников нашей арабистической эпохи в нашей стране» [А, оп. 2, № 62, л. 143].

В начале 1931 года в издательство «Academia» пришел работать А. Н. Тихонов, который, составляя трехлетний план изданий, сразу же начал восстанавливать прежние «восточные» связи, обратившись к бывшим коллегам по «Всемирной» — С. Ф. Ольденбургу, В. М. Алексееву, Б. Я. Владимирцову, И. Ю. Крачковскому, причем последнего он просил «взять на себя всю организацию "восточного" отдела издательства» [письмо Тихонова от 10 февр. 1931 г.; А, оп. 2, № 236, л. 3 об.].

Как в свое время «Всемирная литература», «Academia» планировала издавать «лучшие образцы литературы всех времен и народов» [там же, л. 4], но теперь критерии для выбора произведений определены более точно и соответственно духу времени: во внимание должны приниматься прежде всего «степень общественно-политической пригодности произведений для наших дней», причем «первое место в программе должно быть отведено образцам коллективного народного творчества (эпос), особенно из области наших нац. меньшинств и палеоазиатов... Литературам китайской и турецкой тоже должно быть, по соображениям политическим, отведено господствующее положение» [там же].

Крачковский согласился, но, похоже, пытался игнорировать строгие политические требования, полагая, вероятно, что «1001 ночь», «образец коллективного народного творчества», за все заплатит с лихвой. Если посмотреть составленный им план арабской части, то помимо очередных томов «1001 ночи» мы найдем там ряд памятников, стоявших некогда в плане «Всемирной литературы», уже подготовленных, но не выпущенных, — «Ожерелье голубки» Ибн Хазма, «Повесть о Варлааме и Иоасафе» (удивительно «пригодные» с общественно-политической точки зрения!), «Калила и Димна», «Чудеса Индии» и др. Из крупных памятников добавляются «Макамы», а также — кое-что из новой литературы: роман Зейдана, некоторые вещи из «эмигрантского» тома (Ш. Хури, Дж. Х. Джебран), «Дни» Таха Хусейна, «Путешествие в Россию» Тантави. Особой надежды на осуществление всего запланированного не было, однако «Дни» Крачковский тут же начал переводить «для души (без особых шансов напечатать)», как он сообщал В. И. Филоненко [письмо от 8 авг. 1931 г.; А, оп. 3, № 37, л. 155 об.].

Тем временем весной 1932 года издательство было переведено в Москву и реорганизовано; во главе редсовета стал Л. Б. Каменев, а в состав совета от московских востоковедов был введен В. А. Гордлевский [А, оп. 2, № 236, л. 12—13]. Обязанности между ним и Крачковским были поделены следующим образом: Крачковский отвечает за все, что переводится в Ленинграде и за все арабские памятники, независимо от того, где они переводятся; Гордлевский же ведал московскими переводами, исключая араби-

стические [там же, л. 51 об.]. Секретарем при Крачковском вызвался быть М. А. Салье; в помощь Гордлевскому Крачковский рекомендует московского арабиста Л. С. Некору [там же, л. 43].

Гордлевский поднял на редсовете вопрос о возобновлении издания «Востока» — если не в виде журнала с обычными для него разделами, то хотя бы в виде периодических сборников [там же, л. 13 об.]. Руководство издательства заинтересовалось этим предложением, однако мыслило себе его осуществление не в том плане, как издавался «Восток» 20-х годов, а как «собрание доступных среднему читателю материалов по художественной, мемуарной и бытовой литературе Востока, отнюдь не исследовательского типа» [письмо Л. Б. Каменева И. Ю. Крачковскому от 8 сент. 1932 г.; А, оп. 2, № 236, л. 44]. Крачковскому предложили стать ответственным редактором сборников, от чего он отказался, отговариваясь занятостью: «Задача организации его представляется мне очень сложной, значительно более сложной, чем весь отдел восточных литератур. Справиться с нею, по моему мнению, может только лицо, которое (конечно при наличии соответствующих данных) уделит ей в течение приблизительно года большую часть своего времени, чего я выполнить не могу. Если это удастся осуществить В. А. Гордлевскому, буду очень рад и готов оказать всяческое содействие, но сам могу здесь быть только рядовым редактором, исключительно в пределах своей непосредственной специальности — арабской литературы.

Полагаю, что Издательство не вполне учитывает все трудности этого дела» [там же, л. 52]. Так писал он секретарю редакционного отдела издательства З. Г. Антокольской (черновик без даты).

Вопреки планам руководства ему очень хотелось восстановить «Восток» в прежнем или хотя подобном прежнему виде: «При общем объеме сборника в 20—25 п. л. план его представляется мне в следующем виде: I. Переводы художественных произведений листов 10—12. II. Статьи по вопросам литературы Востока листов 5—6. III. Рецензии на литературные произведения на восточных языках и европейские работы о восточных литературах листа 3—4 и IV. Хроника литературной жизни Востока листа 2—3» [там же, л. 53]. При этом Крачковский считает, что в сборниках этих следовало бы основное внимание уделять литературе XIX—XX вв. — очевидно, печатать этих «сомнительных» авторов отдельными книгами было в ту пору сложнее, чем классические памятники. Он предлагает почти прежний состав редакционной коллегии: Ольденбург, Алексеев, Струве, Орбели, Гордлевский, может быть Марр; секретарь — Конрад или Бертельс [письмо Е. И. Вавилову от 30 авг. 1932 г.; там же, л. 43].

Но получилось не так. На редакционном совещании в Москве 15 августа 1933 года редколлегия сборников «Восток» была утверждена в следующем составе: А. Н. Тихонов, И. Ю. Крачковский, В. А. Гордлевский, С. Ф. Ольденбург, Н. И. Конрад и два пар-

тийных деятеля — А. А. Болотников и П. И. Воробьев (ректор ЛВИ). Запланировано было первый сборник посвятить Ирану (очевидно, в связи с намеченным на 1935 год конгрессом по иранскому искусству и археологии), а второй — Дальнему Востоку. Новая литература отвергалась начисто — профиль «Востока» должен был соответствовать профилю издательства¹⁰.

Однако ни один сборник «Востока» так и не увидел света. Более того, материал для них собирался «довольно туго», как жалуются Тихонов в одном из писем Крачковскому [19 мая 1933 г.; А, оп. 2, № 236, л. 139]. Возможно даже, что ни один из них так и не был собран — по крайней мере, в бумагах Крачковского не сохранилось никаких следов. Не было ли нежелание сотрудничать в «Востоке» молчаливой реакцией на навязывание сверху партийных членов редколлегии?

Характерно, что с восточным отделом издательства была произведена аналогичная операция. Приведу целиком письмо Л. Б. Каменева от 17 октября 1933 года, обращенное к И. Ю. Крачковскому и В. А. Гордлевскому и содержащее беззастенчивые нападки, которые любому знающему И. Ю. Крачковского должны были показаться абсурдными, за уши притянутыми для совершенно определенной цели — впрочем, автор и не трудится ее завуалировать:

«Уважаемые товарищи!»

За последний год в работе нашей Восточной серии обнаружился ряд организационных неполадок, объясняемых как тем, что Вы — наши редакторы — не имели возможности встретиться друг с другом, а отчасти и тем, что Ваши интересы лежат преимущественно в избранной Вами специальной области востоковедения. Ввиду этого, в целях объединения редакционной работы по серии, а также ввиду того, чтобы привлечь к нашим востоковедным работам новые кадры востоковедов-марксистов и коммунистов, Издательство решило ввести в состав редколлегии Восточной серии гг. Болотникова А. А. и Воробьева П. И., с тем, чтобы в заголовке серии в дальнейшем указывалось "Под общей редакцией Болотникова, Воробьева, Гордлевского и акад. Крачковского"» [А, оп. 2, № 236, л. 162].

На письме есть помета рукой Крачковского: «Отв. 24.X.33». Знать бы, что он ответил...

Из редколлегии он вышел: на грифе «Калилы и Димны» (1934) значатся всего три фамилии, а не четыре. Но связей с издательством не порвал: надо было завершить «1001 ночь». Однако, судя по письмам А. Н. Тихонова, отношения с аппаратом «Academia» создались напряженные. Надо отдать справедливость Тихонову — он все время хотел что-то наладить, утрясти, но безрезультатно. Одно из писем его Крачковскому завершается горькой фразой: «От себя лично могу только выразить искреннее со-